



## ХЛЕБ

Все суета, все — преходящий сон.  
И свет звезды — свет гибели мгновенной,  
И человек ничто. Пылинка в мире он.  
Но боль его громаднее Вселенной.

*Аветик Исаакян*

В одной из комнатушек деревянной рубленой избы, отведенной под поселковую больницу, срочно разместили операционную. Фельдшер Евгений Филаретович Лукашевский и санитарка Натсайа готовились к операции. Лукашевский был единственным медиком на всем полуострове, и за многие годы хирургическая работа стала для него обычным и даже обязательным делом. Правда, по всем медицинским и вообще общечеловеческим законам он не имел права брать в руки скальпель. Все-таки не хирург, а фельдшер. Но именно поэтому, соблюдая те же медицинские и общечеловеческие законы, Лукашевский брал в руки скальпель. Шел на риск во имя спасения жизни человека.

Один-единственный медик на весь полуостров длиною в тысячу с лишним километров, и шириною — без малого в пятьсот. Больные, которым требовалась срочная сложная хирургическая операция, у Лукашевского чаще погибали, чем выздоравливали. Но ведь и выздоравливали тоже. Кого медведь изодрал, кому олень распорол живот рогами, кто упал с ледяной скалы и кости переломал. Да мало ли что может случиться в тундре... Всегда в ней кто-нибудь умирает мученической смертью. Если же рядом оказывается медик, который лишь разводит руками, охая и ахая, суетится вокруг больного, терзается от беспомощности, обнаруживая собственное бессилие, он приносит умирающему дополнительные страдания. Это уже не медик.

Каждый раз, когда Лукашевский брал в руки скальпель, он шел на риск. Но он не мог, не имел права не рисковать. На его глазах умирал человек, и он обязан был оказывать помощь. Ведь оказывают же помощь страдающему даже немедики. И оказывают всегда. Иначе нельзя. И Лукашевский как медик не мог

поступить иначе. Пусть из ста выживали только десять. Но ведь это десять человек. Это бесконечно больше, чем нисколько.

Если бы его, единственного медика, не было на полуострове, из ста умирающих погибали бы все сто. А так хоть десять выживали.

Лукашевский ездил из поселка в поселок. Лечил. Уговаривал купцов и богатых иностранных миссионеров открывать больницы. Пусть хотя бы на три койки, пусть хотя бы без постоянного врача, без фельдшера. Пусть в той больничке главной фигурой будет санитарка, но ведь ее можно научить делать перевязки, обрабатывать раны, давать порошки. Все лучше, чем ничего.

Вот и в Тигиле, как и в других поселках Камчатки, стараниями Лукашевского открылась больница. И фельдшер обучал в ней лекарским премудростям молодую девушку Натсайу, дочь потомственного пастуха Эйхо — коренного коряка из Седанки.

Лукашевский и Натсайа готовились к операции. С судна «Руби» высадились в устье реки Тигиль камчатские партизаны. Они и привезли с собой по реке в поселок человека, который сейчас лежал на операционном столе; внимательный осмотр убеждал в необходимости ампутации ноги.

Первое, на что обратила внимание Натсайа, — у этого человека глаза были большие-пребольшие. Она никогда не видела таких. Разве только у оленя. В ее роду у всех глаза маленькие, зрачков не разглядишь. А уж если улыбнется кто или засмеется, вовсе глаз не видно. И еще у этого человека нос необычный — массивный, с горбинкой. До чего вот сам фельдшер Лукашевский не похож на людей из ее рода, но все же не так он отличается от них, как этот молчаливый человек, лежащий на операционном столе.

— Что делать будешь, доктор? — тихо спросил больной.

— Другого выхода нет, — ответил Лукашевский, наливая какую-то прозрачную жидкость из пузырька в стаканчик.

— Значит, резать, — спокойно сказал больной, — меня об этом предупредил Русин...

— Кто это такой?

— Фельдшер из отряда Чубарова. Русин-то и настоял, чтобы меня здесь высадили. Он говорил, что иначе я умру на судне.

— Как зовут тебя? — спросил Лукашевский.

— Баграт.

— Первый раз слышу такое имя. Ну да ладно. Вот что, Баграт, ты сейчас выпьешь эту стопку, и мы с Наташей, — Лукашевский показал рукой на санитарку, — начнем работу. Вооб-

ще-то ее зовут Натсайа, а я по-своему, по-русски, Наташей зову. На, пей.

Багра́т чуть приподнялся на локте, взял стаканчик и залпом выпил. Потом с трудом перевел дыхание и спросил:

— Это что такое?

— Спирт. Чистый. Вся надежда на него. У нас здесь ни эфира, ни какого другого лекарства, чтобы усыпить или боль снять... Вся надежда, как в старину, на спирт да на твою волю. Выручи нас, браток, — потерпи. Понимаешь, прав твой Русин — надо резать. Ну, начали, Наташа.

Багра́т смотрел на деревянный потолок и старался отвлечься от боли. Наташа то и дело вытирала с его широкого лба обильные капли пота. И всякий раз у нее дрожали руки. Ей сразу понравился этот человек, и все время хотелось смотреть в его глаза. Но она словно боялась чего-то. Она чувствовала, как ему сейчас больно. Боль может делать глаза испуганными, дикими.

«Как дела, Багра́т?» — спрашивал время от времени Лукашевский и, услышав неизменное «терплю», молча продолжал работу. Иногда действительно терпеть было можно. Но моментами боль становилась такой невыносимой, что Багра́т, как ни крепился, не мог сдержать крика, и тогда он невольно вспоминал, как ему уже довелось однажды испытать чудовищную боль. Это было несколько лет назад. Точнее, восемь лет. Сейчас, в глухом, заброшенном поселке, на краю света, в тесной комнате, лежа на операционном столе, с которого, он знал, сойдет (если сойдет) одноногим, Багра́т вспоминал свою жизнь. Он вспоминал, как тогда из-за невыносимой боли временами впадал в забытье. Вспоминал все с самого начала: острая боль чаще всего напоминает только острую боль.

\* \* \*

Выше деревни, в которой жил Багра́т, находилась лишь церковь, рядом с которой стояло огромное ветвистое дерево. Говорили, что дерево это святое, ему более тысячи лет. И еще говорили, что дерево помнило все. Помнило тысячелетнюю историю деревни, людей, проходящих к нему со своими мыслями и думами.

Во всей округе не было ни одной ровной площадки. И сады, и бахчи — все размещалось на крутых склонах. С детства Багра́т легко ориентировался в горах и в лесу. С детства он ежедневно ходил в церковь, где несли службу его дед и его отец. Мальчик принадлежал к роду священнослужителей и знал, что

сам, когда вырастет, тоже станет священником. Так предопределено Богом, и никуда от этого не денешься.

По утрам Багра́т вместе с матерью ходил в церковь, часа два учил молитвы. И дед, и отец обычно хвалили его, и он очень старался.

После обеда Багра́т был предоставлен самому себе. За день вместе со своими сверстниками он успевал облазить все кругом, побывать во всех садах, где летом односельчане собирали урожай белой туты. Издалека было слышно, как звонко смеялись женщины, которые, окружив тутовое дерево, натягивали большую холстину и подтрунивали над молодым парнем, прыгающим с ветки на ветку с тяжелой палкой в руках. Этой палкой он бил по веткам, и с шумом густым тяжелым дождем падали на холстину спелые ягоды туты, наполненные медом и солнцем. Не дай бог, если парень ударит не по той ветке и ягоды полетят мимо холста, покрывая зеленую траву янтарными бусинками. Лучше уж после этого ему не слезать с дерева. Слишком боевые были женщины в деревне.

В жаркие дни маленький Багра́т и его друзья собирались возле холодного родника. Воду с помощью нехитрых сооружений использовали для хозяйственных нужд. Несколько сообщающихся между собой ванн, выдолбленных из камней, шли в разные стороны от родника, бегущего по каменным желобам. Один ряд ванн отличался от другого размерами. Из тех, что поменьше, люди воду не брали. Этот ряд был для лошадей, буйволов и коров. Животные ходили сюда на водопой, ничуть не боясь людей. У больших ванн всегда толпились женщины. Здесь они стирали белье и громко сплетничали. Багра́т любил соревноваться с ребятами: кто больше продержит ноги в ледяной воде. Он всегда выходил победителем. Правда, никто не знал, что он упорно тренировался дома: по вечерам специально подолгу стоял в деревянном корыте с холодной водой.

Деревня насчитывала около трехсот дворов, и почти в каждом из них был тони́р — яма, где пекли хлеб. Ежедневно от пяти до десяти тони́ров становились местом сборища односельчан, особенно детворы. Действительно, аж дух захватывает, когда смотришь на то, как раскрасневшаяся от духоты и жары женщина, стоя на коленях, пришепывает к багровым стенкам тони́ра плоские лепешки и как специальным крючком ловко вытаскивает ароматные пышные диски хлеба. Иногда, случается, тесто не липнет к стене, морщится, съезжает прямо на угли. Неудачную лепешку — кутану — тут же достают крюч-

ком, она уже готова. Это любимое кушанье детворы. В детстве Баграт часто ел кутану. Его мать, немолодая, рано поседевшая женщина, которую в деревне звали «терин арсы» — невестка священника, — прекрасно пекла хлеб. Об этом все говорили. Баграт был очень привязан к матери, любил смотреть, как она пекла хлеб. Он всегда помогал ей месить тесто. Мать редко улыбалась. Баграт даже стеснялся при ней озорничать, играть, балагурить. Она всегда была чем-то озабочена. Часто вздыхала. С некоторых пор он начал примечать, что не только мать, но и все взрослые стали какие-то невеселые. Собираются и что-то обсуждают.

Много раз мальчик слышал от своих родных о том, что турки не дают покоя соседним селам. Но особенно тревожно стало в деревне после того, как отец Баграта на несколько дней отлучился из дома и привез жуткие вести. Баграт своими ушами слышал, как отец говорил, что турки не дошли до их деревни только потому, что она расположена чересчур высоко и слишком тяжела к ней дорога. «Но они все равно придут, — предупреждал односельчан отец Баграта, — не сегодня завтра».

Годы спустя в деревню заявили турки. Человек десять. Все они были с винтовками и ятаганами. Они созвали народ к роднику, где по вечерам обычно собирались взрослые, и прочли какую-то бумагу. Читающий едва успел закончить, как с плоской крыши невысокого каменного дома к односельчанам обратился дед Баграта, тер-Ерванд. Его громкий звучный голос был хорошо всем слышен. «Не вздумайте этим людям, — говорил он, — отдавать оружие. Все, что здесь читали, — ложь. Никогда турки не защищали и не станут защищать армян. Защищать армян нужно не от России, а от самих турок». Потом тер-Ерванд спросил пришельцев: «Если вы на самом деле хотите защитить нас, то для чего же разоружаете?» Все напряженно ждали ответа. Турки замешкались, заговорили разом так, что ничего нельзя было разобрать, и вдруг один из них выстрелил в воздух и, подойдя поближе к дому, на крыше которого стоял тер-Ерванд, обращаясь сразу ко всем, сказал: «Мы сейчас уйдем. Вы не хотите подчиниться приказу властей. Берегитесь. Вы еще не всё знаете. Скоро на земле не останется ни одного армянина». Он подал команду. Турки сели на коней и уехали.

Долго в тот вечер не расходился народ. Все спорили. Были и такие, которые обвиняли тер-Ерванда в том, что он плохо обошелся с турками, известными своей мстительностью. Тер-Ерванд был уверен, что поступил правильно. Всегда наивные

его соотечественники верили обещаниям врагов, а позже кусали локти. Дед Баграта говорил людям: «Подумайте сами. С одной стороны, они под предлогом защиты хотят нас разоружить, с другой — их главарь недвусмысленно заявил, что скоро на земле не останется ни одного армянина».

Трудно было обвинять людей в трусости. Когда у человека семеро детей — мал мала меньше, — он невольно вынужден проявлять трезвость и быть предусмотрительным. Некоторые знали, что имеют дело с врагом необычным. Этот враг норовит воевать не с мужчинами на поле битвы. Не однажды, обманом разоружив народ, он безжалостно нападал на стариков, женщин и детей в их собственных домах. Вот поэтому-то и стоял на своем тер-Ерванд.

У маленького Баграта было довольно беззаботное детство. Церковь, в которой служили его старшие и в которой надлежало служить ему, стала его школой. Поэтому он не пас овец, не чистил коровник, не колол дрова, как это делали другие его сверстники.

...С раннего детства родители выбрали ему в невесты Манушак, дочь потомственного каменщика, чьи предки строили церкви и монастыри. Они любили друг друга.

Баграту не было и двадцати, когда осенью сыграли свадьбу. Почти все село собралось в просторном дворе. Первое слово на свадьбе сказал тер-Ерванд; к этому времени он был уже совсем старым человеком, и односельчане называли его «святым». В самом деле, тер-Ерванд своей белой окладистой бородой, черными глазами и густыми темными бровями напоминал святых, изображенных на иконах. Но не поэтому называли его святым. Люди шли к нему со своими бедами, радостями, горестями, и всегда сурб-айр — святой отец — находил именно те слова, которые были нужны. Несмотря на глубокую старость, он часто, как говорили на селе, спускался с гор, чтобы узнать, что творится на большой земле. Он приносил с равнины вести и, собрав народ, рассказывал о том, что видел; рассказывал о том, как нужно жить дальше... Когда тер-Ерванд начал говорить, держа в руке маленький граненый стакан, гости замерли, боясь шелохнуться.

— На этой земле, — сказал он, — я всегда обращался к вам от имени Бога, но в этот раз... Смотрю я сейчас на вас, собравшихся в моем доме, смотрю я на внука Баграта и нашу невестку Манушак и думаю: вот если бы так было всегда. Если бы так было вечно. Сильной, могучей стояла бы церковь армянская, на свадьбах пелись бы армянские песни, и у женщин наших не

было бы страха перед будущим. Смотрю я на вас, гостей моих, и радуюсь, что много у нас на селе молодежи, много мужчин. К ним я и обращаюсь. От вас зависит, чтобы вот так мы могли собираться на свадьбы, от вас зависит, чтобы исчез навсегда у наших женщин страх перед будущим. Здесь не место говорить длинные речи, я хочу поднять стакан вина за тех, кто сумеет сберечь наши традиции, наши церкви, кто сумеет отогнать страх, вечный страх от наших матерей. Пусть никогда не будет его у нашей невестки, у прекрасной Манушак. Это и от тебя зависит, Баграт-джан! Ваше здоровье!

Все встали. Выпили молча. А потом тер-Ерванд попросил музыкантов сыграть что-нибудь веселое...

На следующий день после свадьбы человек двадцать — все молодые парни — явились в церковь к тер-Ерванду и попросили его прямо и открыто сказать, что им всем нужно делать, чтобы не стыдно было перед могилами дедов, чтобы исчез из материнских глаз страх перед грядущим. Дед Баграта не ожидал такого визита, но, выслушав односельчан, повеселел.

Целый день молодежь не уходила из церкви.

Маленькое село, расположенное высоко в горах, куда путнику было трудно пробраться по извивающейся узкой горной тропе, было их родиной. Тер-Ерванд не раз рассказывал своим молодым друзьям, сверстникам единственного внука, о печальных, полных драматизма страницах истории Армении. О том, как их народ, потеряв много веков назад государственность, утратил и основы единства нации, без которых трудно хранить традиции. Тер-Ерванд рассказал о том, какую роль в истории Армении сыграл Месроп Маштоц, который изобрел армянскую письменность и тем самым объединил армян. «Письменность сильнее меча, — говорил старик. — И все же сама письменность нуждается в защите. Турки уничтожают не только армянское население, но историю и культуру Армении. Особенно они расшвыривали, когда стало ясно, что армяне тяготеют к русским».

Жители села знали, что на севере, за горами, находятся русские. Светловолосые и голубоглазые христиане. Говорили, что это надежда армян.

Отец Баграта, тер-Гайк, сказал всего несколько слов. Но они глубоко запали в сердце собравшихся. Он сказал, что, как ни тяжело ему в том признаться, многие беды приходят из-за разобщенности, из-за раскола мужчин в их селе. Парни загалдели было, не очень его понимая, и тогда тер-Гайк добавил: «Известно, когда идет саранча, нельзя с ней бороться только на соб-

ственном участке. Надо думать о земле соседа тоже. Против саранчи и против варваров надо драться вместе, сообща. Надо думать и помнить о всем народе. Порой, жертвуя собой, семьей, можно спасти народ, но никогда не спасешь свою семью, своего ребенка, если готов при этом пожертвовать всем народом».

И тер-Гайка поддержал тер-Ерванд. Он сказал: «На протяжении полутора тысяч лет грабили и убивали армян. Много горя видели они. Первыми приняли христианство всем народом, всей Арменией и нажили врагов. Но за весь этот срок не было уничтожено врагом столько людей, сколько за последние полтора десятка лет. И еще об одном я хотел бы предупредить вас, мои юные друзья. Когда я в последний раз спустился вниз, я узнал: скоро начнется страшная война, в которую будет вовлечено много стран, в том числе и Россия. Множество русских уйдет отсюда на помощь своим. Тогда совсем худо будет. Все будет зависеть только от мужества наших людей, от вас. К несчастью, многие из вас уже сдали оружие.

Выйдя из церкви, парни собрались у сурб-дерева. Среди них был и Баграт. Они не знали, о какой войне говорил тер-Ерванд, но понимали, что их верный друг — русский народ — в беде и на помощь его будет трудно рассчитывать.

Война, о которой после свадьбы Баграта предупреждал тер-Ерванд, началась, однако, через несколько лет. За это время Манушак принесла Баграту двух сыновей и двух дочерей. Старшему, Тиграну, было уже шесть, когда началась Первая мировая война.

Страшные вести приходили в деревню. Трудно было даже поверить в то, о чем говорили люди. Евфрат и Тигр принимали в свою пучину армянских женщин, которые отказывались принять ислам, и многие из них бросались в реку вместе со своими детьми. Бросались с высоких скал. Турки врывались в села, в которых не было ни одного мужчины. Незадолго до геноцида мужчин призывали в турецкую армию и там же, предварительно разоружив, уничтожили.

Только в деревне Баграта оставались мужчины. Они вооружались. В конце марта 1915 года тер-Ерванд спустился с гор, несмотря на свой преклонный возраст. Только его семья знала, зачем тер-Ерванд оставил село. На равнине он встречался со священниками из других церквей. Тер-Ерванд владел несколькими языками и всегда помогал писать письма, адресованные главам различных государств о положении армян в Османской империи.



Но в этот раз тер-Ерванд спустился с гор и словно исчез. Обычно он возвращался на третий день, а тут прошло уже полмесяца, а его все не было. Односельчане Баграта хорошо знали, что турки особенно старательно охотились за священниками. Обеспокоенный, Баграт решил спуститься вниз. Но отец Баграта, тер-Гайк, не разрешил ему оставить дом. Это было в середине апреля, и никто в селе не знал, что именно в середине апреля, пятнадцатого числа, министр внутренних дел Османской империи Талаат-бей, военный министр Энвер и глава центрального секретариата комитета Иттихата доктор Назим подписали секретный документ, в котором, обращаясь ко всем губернаторам, начальникам уездов, предводителям племен, писали: «Пользуясь возможностью, предоставленной войной, мы решили подвергнуть армянский народ окончательной ликвидации, высылая его в пустыни Аравии. Правительство и великий комитет Иттихата, которые двадцать четвертого апреля, начиная с восхода солнца, должны приступить к осуществлению этого приказа согласно секретному плану...»

Что ни слово — то мороз по коже. «Пользуясь возможностью, предоставленной войной...» Это значит, что России будет не до армян. «Начиная с восхода солнца...» В подобных документах обычно указывали точное время суток, а вот эти дикари написали туманно — «начиная с восхода солнца...». Конечно, суть дела не меняется... Не более чем через два месяца главари Османской империи с присущим им цинизмом рассекретили свой документ. В июне того же 1915 года они заявили аккредитованному при императорском посольстве доктору Мордтманну, что «Порта хочет использовать мировую войну для того, чтобы окончательно расправиться с внутренними врагами (местными христианами), не будучи отвлекаема при этом дипломатическими вмешательствами из-за границы.»

За шесть дней до рокового 24 апреля турки ворвались в село Баграта. Три дня мужчины вели бои с вооруженными до зубов бандитами, которыми руководил бритоголовый турок со шрамом на щеке. Баграт его сразу узнал, хоть и видел его, еще когда был мальчишкой. Три дня днем и ночью велись бои. Целая армия шла против маленькой деревушки. Турки не могли провести в жизнь свой чудовищный план, пока в деревне находился хоть один человек, могущий держать в руках оружие. Только потом Баграт узнал, какой замысел был у турок. Получив секретный приказ и секретный план, по которому на рассвете 24 апреля во «вверенной местным властям территории не долж-

но остаться ни одного армянина и любого другого представителя христианского населения», власти решили выслужиться перед правительством и комитетом Иттихата и доказать им свою верность и преданность, для чего нужно было в кратчайшие сроки телеграфировать в центр, что на «вверенной территории» не осталось ни одного христианина. Этого можно было добиться только при условии, если не будет никакого сопротивления со стороны армян. Вот почему они заранее объявили войну мужчинам.

20 апреля турки оставили деревню. Они спешили вниз, к своему хозяйству, чтобы доложить об исполнении дел в трудном районе, который всегда доставлял им много хлопот. В деревне Баграта осталось всего несколько мужчин, и те вынуждены были уйти в лес. Они решили собрать там партизанский отряд, объединившись с мужчинами из других деревень.

Двадцать четвертого апреля Баграт не пошел в церковь. Отец ему разрешил остаться дома. Мать болела целую неделю, и с каждым днем ей становилось все хуже и хуже. Накануне дома был деревенский лекарь, седовласый дед Норик, который сказал, что терин арсы не протянет и недели. Весь дом ходил на цыпочках. Дети будто знали, что происходит, и сидели тихонько, затаившись. В полдень вдруг послышался протяжный визг. Кричали женщины. Кричали все вместе, словно сговорившись. Баграт выскочил на улицу и глазам своим не поверил. Горели одновременно почти все дома. Не горел только их дом. По узким и кривым улицам, мощенным плоскими белыми камнями, сновали турки. Они выгоняли людей из домов. Баграт схватил ружье и выстрелил в турок. Убил одного, другого, третьего и все поражался, почему никто его не трогает. Он не знал, что в это время большой отряд во главе все с тем же лысым турком со щрамом на лице разрушает церковь. В одном из приказов правительства было сказано: «Местным властям разрешается разрушать церкви и монастыри».

К вечеру в дом Баграта ворвалась дюжина аскеров, обвешанных винтовками, пистолетами и ножами. Лысый турок держал в руках мешок, запачканный в крови. Баграта на глазах семьи привязали к деревянному столбу, который подпирает балку. Привязали крепко, обмотав веревкой тело. Потом все расступились, и турок, взявшись за мокрые углы мешка, приподнял его высоко над головой. Из мешка к ногам Баграта упала голова отца, священника Гайка. Баграт закрыл глаза, сиюсь вырваться. Он мотал головой из стороны в сторону и стонал.

На высокой тахте лежала больная мать. Она не проронила ни одного слова. Только дети, обступившие Манушак, схватились за подол матери и громко плакали.

— Я давно еще обещал, что мы вернемся, — сказал лысый турок. — И, как видишь, сдержал слово. — Он словно обращался не к Баграту, не к больной, не к молодой матери с детьми, а к голове священника Гайка. И со злобой пнул ее ногой.

Баграт несколько раз терял сознание, но его всякий раз приводили в чувство. Баграт не расслышал, что сказала его мать, он только увидел, как лысый турок сорвался с места и с размаху ударил ее рукояткой ятагана по голове. У него на глазах были зарезаны дети. Ему казалось, что он уже давно умер и все это происходит не в его доме, а где-то далеко-далеко. Когда голова Баграта падала на грудь, турки обливали его холодной водой и кололи тело иголками. Им нужно было, чтобы он видел все происходящее. Гогоча, они надругались над Манушак. Она умерла с кляпом во рту.

— Молодцы, — похвалил лысый турок своих бандитов, — вы вели себя достойно. А теперь забирайте все, что вам нравится в этом доме. Все — ваше. — Он подошел к Баграту, приподнял согнутым пальцем его голову и сказал: — Так будет со всеми, кто проповедует христианство. Подыхай здесь, среди дорогих тебе трупов. — И с силой ударил по лицу. — Пошли, аскеры!

— А как быть с ним? — обратился к лысому один из бандитов.

— Никак. Пусть подыхает, глядя на свою женушку, ублютков и старуху. А чтоб не удрал, мы сделаем вот что...

И лысый выстрелил Баграту в левую ногу.

\* \* \*

Ночь с 24 на 25 апреля выдалась тихая и теплая. Только порой было слышно, как трещат обгорелые доски в соседских домах. Среди ночи, в кромешной тьме, Баграт пришел в себя: кто-то звал его. Он открыл глаза, силясь понять, откуда идет голос. Любая попытка двинуться вызывала страшную боль. Он вновь отчетливо услышал свое имя. Как ему показалось, голос раздавался совсем близко.

— Кто здесь? — едва шевеля опухшими губами, спросил Баграт.

— Это я, Баграт-джан.

Баграт узнал голос матери. «Она жива, — подумал он, — это страшно. Лучше бы она умерла. Сейчас рассветет, и она все увидит».

— Почему ты молчишь, Багра-т-джан?  
— Как ты себя чувствуешь, мама? Я думал...  
— Я тоже думала, что умерла, но, видно, Бог вернул меня с того света, чтобы я попросилась с тобой. У меня сейчас сильно болит голова. А как твоя нога, Багра-т-джан?

— Не знаю, как нога. Я не могу смотреть вниз. Дышать больно. Но боли в ноге не чувствую.

Багра-т едва мог говорить. Но больше всего он боялся, что мать спросит про детей, про Манушак, про отца. И он старался ее отвлечь.

— Ничего, мама, вот рассветет, придут наши из леса, развяжут меня, и тебе станет легче...

— Багра-т, ты все видел? — перебила его мать.

— Всё, мама.

— Багра-т, к утру меня не будет, но я уверена — ты спасешься. Твой отец и твой дед часто говорили, что всегда кто-нибудь остается в живых. Даже если всю деревню сожгут, все равно кто-нибудь останется. Тебе суждено остаться. Ты ничего уже не можешь вернуть. Но ты должен остаться в этом мире как память о нас.

— Мама, не говори так. Скоро придут наши. Они в лесу. Придут, и тебе станет легче. Они меня развяжут...

— Да, Багра-т-джан, они придут, обязательно придут, и ты должен будешь с ними уйти отсюда. О нас не беспокойся. Мертвых всегда хоронят. Мертвых в конце концов даже враги хоронят, потому что они мешают им. Ты только похорони голову отца, а то они опять будут пинать ее ногами. Больно же...

— Мама...

— Джан...

— Не надо. Поговорим о чем-нибудь другом. Скоро придут наши...

— Я тоже в это верю. Но тебе надо пробираться к русским. Отец твой говорил, что если бы не война, то русские не позволили бы туркам... Он хотел, чтобы ты поехал в Россию. Отец твой был настоящим армянином. Мне всю жизнь было с ним легко. Он мне иногда говорил то, чего никогда не говорил прихожанам. Он говорил, что все наши страдания оттого, что мы христиане. Но мы никогда не откажемся от своей веры, потому что отцы и прадеды наши были христиане. Бывало, скажет мне на ухо, что не в Бога мы веруем, а в предков своих. Отказаться от веры — значит, отказаться от родителей своих. Вот он как говорил. А ты, Багра-т-джан, я чувствую, ты не станешь священником, но никогда не забывай, что вера — это твои родители...

ли. И ты старайся пронести через всю свою жизнь память об отце. Он больше всего в жизни гордился, что своей службой нес людям добро. Только я думаю: зачем это нужно было людям? Где они, эти люди, — они все убиты...

— Нас об этом все время предупреждал дед, — сказал Баграт, — он как будто предвидел этот день. Знал, что наступит такой страшный день.

— Дед твой до последнего часа мечтал об одном. Хотел, чтобы мужчины думали о всем своем народе, а не только о собственном очаге. Ты был очень маленький, не помнишь, как однажды он сказал, обращаясь к селу, что, не будь он армянином, поведал бы всему свету о тех армянских мужчинах, которые иногда, забывая о своем народе, думают лишь о том, чтобы забор возле его дома был лучшим в деревне. Твой дед говорил, что все армянское, все традиции нашего народа сильнее хранят женщины. И что они больше всего при этом страдают. Вот как говорил твой дед, Баграт-джан. И его за это многие не любили. Он часто спускался с гор на равнину и посещал армянские монастыри, где его все знали. Он писал обращение к своему народу и везде и всюду говорил одно: чтобы армяне думали об армянской земле так, как они думают о своих детях, как думают о чести своих жен. Вот какие слова он говорил и писал. Но кто слушал и читал их? До кого дошли его слова? Уж если турки до нашего села добрались, значит, внизу не осталось ни одного армянина.

— Не может быть, мама. Не может быть, чтобы всех...

— Может быть. Но только, как говорил твой отец, если даже всех вырежут, то и из пепла поднимется армянский народ.

Баграт слушал мать, и сердце сжималось в его груди. Он никогда не знал мать такой. Он всегда благоговел перед отцом и дедом, а мать считал существом тихим. Вся жизнь она только и знала, что подавала на стол, за который сама редко садилась. Сейчас сын, превозмогая мучительную боль, с трепетом слушал мать. Ему вдруг стало стыдно перед ней. Все казалось, что, говоря о мужчинах, она имела в виду и его тоже. Поражало Баграта и то, что мать ни словом не обмолвилась о детях, которые лежали здесь, совсем рядом, о Манушак, об отце, о деде, который так и не вернулся в деревню. Он понимал, что она боится сделать ему больно. Наступила тишина. И он громко сказал:

— Почему ты молчишь, мама?

— Я не молчу, Баграт. Я говорю, только ты меня не слышишь. Я, наверно, тихо говорю.

— Да, я тебя плохо слышу, мама.

— Я говорю, что ты должен попасть к русским. Ты будешь жить. Я это чувствую. Будешь жить очень долго. Знаешь, меня всю жизнь называли «терин арсы», но не очень-то я верила в Бога. Больше верила голосу сердца. Оно меня никогда не обманывало. Ты должен жить, ты обязан жить.

— Мама...

— Сын армянского священника не должен падать духом. Армения будет вечно. Если даже сыновья ее разбредутся по всему свету, все равно родина останется. Главное — где бы вы ни находились, вы должны помнить о своем народе.

— Мама...

— Баграт, — еле слышно проговорила мать.

— Мама...

— Баграт-джан, только прошу тебя, не забудь похоронить голову отца. Будь достойным его. Я сегодня передала тебе — его слова. Это он с тобой говорил, а я... я...

— Мама! — громко закричал Баграт. — Мама!

В ответ он услышал только глубокий вздох. Баграт вновь громко крикнул. И слух его уловил тихо произнесенное, едва уловимое «джан». Это было последнее слово матери.

\* \* \*

Баграт не чувствовал своего тела. Он был уже не в силах поднять голову, сильно болели глаза. Удивляло, что после всего пережитого у него не помутился рассудок, сердце не разорвалось на части.

Пытаясь в очередной раз вырваться из тугих пут веревки, Баграт почувствовал сильную боль в ноге; кажется, судорогой свело все тело.

Рассвет, пришедший на высокую гору, где находилась сожженная теперь деревня Баграта, медленно проникал через окна единственного уцелевшего дома. Баграт стал различать ровные прямые щели между половыми досками. Болели глаза. Он не мог их закрыть. Хотелось одного — умереть; он боялся, что как только в доме станет светло и он поднимет голову, то увидит всех: детей, Манушак, мать, голову отца.

Ослабевшее тело Баграта сползло с подпорного столба, к которому он был привязан веревками. Он потерял сознание.

Только к полудню в дом вошли несколько мужчин, среди которых были и односельчане Баграта. Они бросились к нему и сразу перерезали веревки, едва успев подхватить падающее

тело. Кто-то принес воды, брызнул в лицо. Баграта вынесли во двор. Мужчины молча смотрели на убитых.

Баграт долго лежал без сознания. Мужчины туго перевязали полотенцами рану на ноге и стали спешно собираться в дорогу. Свой скорб они погрузили на арбу. На нее же положили и Баграта. Дорога шла под гору, и двое упитанных буйволов скорее придерживали ход арбы, нежели тащили ее. Но, несмотря на лихой бег арбы, мужчины все подгоняли буйволов, едва поспевая за ними. Горная дорога была неровной. Огромные колеса то резко поднимались на вершину бугра, то скатывались в ямы, размытые дождями. От частых толчков Баграт пришел в себя. Он открыл глаза и некоторое время разглядывал синее небо. Приподнявшись на локтях, превозмогая боль в теле, он посмотрел по сторонам и, узнав среди мужчин, торопливо шагающих за арбой, своих односельчан, крикнул:

— Стой!

Два человека тотчас же подбежали к буйволам и преградили им путь. Арба остановилась.

— Куда мы едем? — спросил он.

— Едем вниз, — сказал один.

— В Тарон едем, Баграт.

— В Тарон, — добавил другой, — говорят, на улицах Тарона развешаны русские флаги.

— Варган, — обратился Баграт к односельчанину, своему старому приятелю, — вы похоронили моих?

— Нет, Баграт, не похоронили. Не успели. Времени было очень мало.

— Варган, я должен вернуться домой, — тихо сказал Баграт.

— Ты с ума сошел!

— Я должен похоронить родных.

К арбе вплотную подошли все остальные.

— Сейчас такое время, что нужно спасти оставшихся в живых, — сказал один из мужчин.

— Мы теряем время, — остановил его Баграт, — я должен вернуться домой. Я не могу не выполнить последней воли матери. Она просила похоронить голову отца. Она все боялась, что турки опять будут пинать ее.

— Да что там говорить, — вмешался в разговор седой мужчина с черной бородой, — надо вернуться и похоронить голову священника.

...В весеннем саду дома потомственных священников под ветвистым тутовым деревом люди похоронили всех родных

Баграта. Багра́т лежал на арбе. Как он ни умолял, его так и не сняли с арбы. Вартан не отходил от него ни на шаг.

— Помоги мне сесть, Вартан, — попросил Багра́т.

Вартан нагнулся к нему, обнял за плечи и приподнял друга. Багра́т зарыдал и стал раскачиваться, касаясь головой колен. Вартан, обхватив его за плечи, прижал к себе и сказал: «Возьми себя в руки, Багра́т-джан».

...Только на десятые сутки они добрались до Тарона. По дороге им встречались колонны переселенцев. В Тароне действительно на домах были развешаны русские флаги.

Вартан и его друзья ехали по вымершему городу, словно в диком лесу или безлюдной пустыне, и кричали: «Есть здесь кто-нибудь?» От большой потери крови, от голода и жажды Багра́т вовсе обессилел и то и дело впадал в беспамятство. Нужен был доктор, но где его найдешь здесь, в мертвом городе... Вартан и его друзья все гнали и гнали измученных, исхудавших буйволов. Они искали русских, которые, конечно, не могли оставить город, не захватив с собой свои знамена. И они не ошиблись. Вскоре на их крики отозвался молодой солдат. Длиннющая винтовка висела у него за спиной. Подошли и другие солдаты. Языка беженцев они не знали, но на арбе — они видели — находился раненый, которому нужно было оказать срочную помощь.

Через некоторое время солдат, первым встретивший арбу, подвел к толпе пожилого офицера. Круг расступился, и офицер подошел к раненому. Взял за руку. Приоткрыл ему один глаз, потом другой. Расстегнул ворот рубахи и прижался ухом к груди. Все молча наблюдали за действиями офицера. Когда на волосатой груди раненого показался крохотный крестик, кто-то из русских громко сказал: «Наш. Христианин».

Все это вспоминал Багра́т на операционном столе, даже во время операции. Ведь он не спал.

\* \* \*

Лукашевский работал сосредоточенно, не торопясь. Эта манера работы исходила не только от его спокойного нрава. У него просто не было возможности работать более споро. Не хватало зажимов, и из-за этого он всегда тщательно готовил операционное поле. Зажав кровотокающий сосуд, непременно перевязывал его, чтобы освободить зажим, который всегда нужен по ходу операции.

— Доктор, еще спирту, — попросил Багра́т, кусая губы.



Наташа налила из пузырька в стаканчик спирту и, приподняв Баграту голову, помогла ему выпить. Он пил спирт, как пьет воду обессилевший человек.

— И чего возиться, доктор... Убей меня, и дело с концом...

— Не говори так! — неожиданно громко сказала Наташа. — Не говори!

— Сил уж нет, — с трудом проговорил Багра́т, — больно. Больно, как тогда, совсем как тогда...

Багра́т не мог решить, когда ему было больнее — тогда, когда оперировал пожилой офицер, или сейчас, когда оперирует Лукашевский. Все смешалось в сознании. Осталась одна боль. И она была тем единственным звеном, которое связывало настоящее с прошлым. Чтобы не чувствовать ее, хотелось скорее впасть надолго в забытье, как тогда...

Пожилой офицер, закончив операцию, сказал тогда, что все равно рано или поздно встанет вопрос об ампутации ноги. Потом наступило долгое и какое-то странное забытье. Он ходил в атаку, не чувствуя боли в ноге. Стрелял в людей, и люди стреляли в него. Но все это было как во сне. Тогда ему казалось, что все происходит не на земле, а в аду. Так длилось долго, очень долго, до тех пор, пока однажды Багра́т вместе с другими солдатами не оказался в поезде. Сознание словно стало проясняться, он начал приходить в себя.

Долго Багра́т не мог понять, куда его везут. Да и мало кто в поезде знал об этом. Собственно, Баграта это и не интересовало, куда идет эшелон с русскими солдатами. Всё — ад. Всё на этой земле — ад. И какая разница, куда они едут...

За окном вагона проплывал густой лес, видны были высокие могучие сосны, которые сменялись то белыми березами, то елями. Потом лес исчезал, словно кто-то вырубал его одним махом, и тогда в вагоне становилось светлее: виднелись многоцветные луга, голубые озера.

Баграта удивляло, что не было конца и края России. Ему иногда казалось, что они стоят на месте, — так похожи были пейзажи за окнами. И только новые железнодорожные мосты, невысокие горы да еще мерный стук колес говорили о том, что поезд движется.

Останавливались часто. На час, на два. Порой на сутки, а то и на двое. Затем снова отправлялись в путь. Дальняя дорога больше всего удивляла Баграта. Почти месяц в пути. До чего же велика Россия! «Какая она?» — думалось ему. А его Армения? Ведь, кроме своего села, расположенного высоко в горах, он ничего не видел. Он только один раз спускался вниз.

Армения. Существует ли она теперь? Мать говорила, что всегда она будет, что она возродится даже из пепла. Но куда идет этот поезд? Уже некоторые сутки за окном не видно ни одной деревушки, ни одного домика. Рана на ноге в последнее время все чаще и чаще дает о себе знать. Ноет. Болит по ночам. Пожилой русский врач в Тароне сказал, что, возможно, придется ампутировать ногу, так как сильно задета кость, и добавил, что специально говорит об этом в открытую с раненым, чтобы тот знал обо всем. Тогда Багра́т словам врача не придавал значения. Он находился в каком-то горячечном бреду. Перед глазами возникали дети, жена, мать, голова отца с красной бородой. Иногда казалось, что все это произошло во сне. Но боль, проклятая боль, будила его, приводила в чувство, напоминала, что все, что было накануне, — не сон.

Потом вновь пришло спасительное забытье. Кто-то как будто делал все, чтобы забылся тот день двадцать пятого апреля 1915 года.

Но вот сейчас рана на ноге вновь давала о себе знать, пробуждала в памяти двадцать пятое апреля 1915 года. И каждый раз он умирал, чтобы потом воскреснуть со словами матери: «Ты должен остаться в этом мире как память о нас... Тебе нужно пробраться к русским».

«Вот я и пробрался, — размышлял про себя Багра́т, лежа на жесткой полке вагона, — и что я нашел? Вначале вроде бы все было понятно. У русских, оказалось, тоже есть свои враги — немцы, и русские дрались с ними. Но потом многое изменилось у русских и стало непонятным. Вроде бы христиане, а разделились на два лагеря: красные и белые. И убивают друг друга. Одно я знаю точно — так нельзя, — размышлял Багра́т, — русский против русского — ведь все равно что армянин против армянина. Зачем убивать друг друга? Вот мне говорят, что я нахожусь у белых и что мы будем воевать с красными. А недавно один из нашей роты рассказывал, что брат его находится у красных. Я ничего не понимаю. Парень-то, который рассказывал, сам из деревни. Значит, и брат его из деревни. Так неужто мать рожала одного сына, чтобы он стал красным, а другого — чтобы стал белым? А что, если они встретятся в бою? Значит, брат убьет брата? Кто кого? Кто первым выстрелит...

Я теперь тоже белый. Ну и что ж, белый так белый. Начальство каждый день перед строем говорит, что мы спасаем Россию, солдаты ему верят. А солдаты, как я убедился, хорошие люди. Вон тот, у которого брат в красных, Иван Петров, рас-

сказывал, что всю жизнь их семья голодала. Хочет, чтобы все было по-честному, по-справедливому. И много солдат таких, как этот Иван Петров. Они хорошие люди. Христиане, одним словом... Только вот что же получается? И красные — христиане. И ведь никто ничего толком не объяснит. Вот и сейчас везут куда-то. Больше месяца везут. Одно только сказали: едем спасать Россию. От красных спасать. Интересно, кто они такие, эти красные? И почему брат Ивана Петрова среди них?»

Уже четвертый год Баграт находился в русской армии. И часто ему казалось, что он — это не он, а совсем другой человек, который теперь знал только одно — выполнять приказы, подчиняться. Он любил оставаться один, но старался при этом не вспоминать своих родных. И все же не было дня, чтобы он не подумал о них. С годами боль нисколько не утихала. Может быть, она только видоизменялась, становилась другой. Он ловил себя на том, что печаль и жалость, которые заполняли его, постепенно вытесняются злостью. Уже будучи солдатом, Баграт усвоил для себя главное — надо бороться с жестокостью. Нельзя оставлять ненаказанным того, кто ступил на чужую землю, того, кто убивает невинного. Он понимал: злость пришла к нему потому, что его враги не наказаны. Они убивали детей и хохотали, потому что верили в безнаказанность. Но почему так? Откуда столько зверства в людях? Подобные мысли не давали ему покоя.

Баграт редко оставался один. Трудно одному сидеть в холодном окопе. И намного труднее, если там, за окопом, враг, а здесь, рядом, люди говорят на непонятном тебе языке.

Когда ребята, с которыми ты идешь в атаку, собравшись в круг, вдруг разом начинают хохотать, тебе очень хочется догадаться, над чем так весело смеются эти обычно угрюмые, задумчивые люди. Иногда кто-нибудь из них получит письмо из дома, начинает вслух читать, и вокруг него собирается толпа. Все с жадностью вслушиваются в текст письма, а Баграт смотрит на сосредоточенные лица и по ним только догадывается, о чем пишут солдату из дома.

Он думал и о том, что ему никто никогда не писал и никто никогда в жизни уже не напишет.

Но так было вначале. Потом, со временем, он почувствовал себя увереннее среди русских солдат, потому что начал понимать их язык. Многие ему помогали, особенно старался Иван Петров, и ему Баграт первому поведал свою историю. Они подружились. Иван Петров тоже рассказал Баграту о своей нелег-

кой жизни, о брате, который находится у красных. Тогда Баграт впервые услышал слово «большевик». За час до того как их отправили в эту нескончаемую дорогу, какой-то генерал держал речь перед солдатами. Он призывал солдат начисто освободить Россию от большевиков. И Баграт отправлялся в неведомые края с мыслью, что едет помогать русским освобождать Россию от большевиков.

Из немногих населенных пунктов, которые встретились на пути эшелона, запомнился только Иркутск. Холодный город с деревянными приземистыми домиками, похожими друг на друга. И запомнился он потому, что здесь их разбросали по разным полкам. Баграту повезло: с Иваном Петровым их не разлучили. В день приезда в Иркутск им сказали, что через неделю они поедут дальше. Узнали они и еще одну новость. Среди солдат сразу же пошел слухок, что повезут их к самому океану, в отряд Бочкарева, которого называли то полковником, то есаулом, то атаманом. Говорили, что этот Бочкарев — сорвиголова, что он люто ненавидит большевиков. И еще говорили, что с Бочкаревым не пропадешь. Все его ребята богатеют, как буржуи. Разные сведения о будущем командире солдаты передавали из вагона в вагон. Так Баграт узнал о том, что Бочкарев раненых у себя не держит. Он или отпускает их на все четыре стороны, или пристреливает, словно загнанных лошадей. Чаще пристреливает, потому что не хочет, чтобы его бывшие солдаты распространяли о нем недобрую молву как о грабителе.

Откуда возникали такие слухи и ползли по вагонам — никто не знал, но чем ближе подъезжали к месту назначения, тем чаще они возникали; о Бочкареве говорили так, словно давно знали его.

До океана эшелон не доехал. Поезд остановился в нескольких десятках километров от побережья, и люди шли пешком почти целые сутки, пока добрались до нужного места. Командир не знал, что солдаты тайно помогли раненому армянину передвигаться. Прибыв в отряд, сразу же почувствовали облегчение. Не так страшен черт, как его малюют. В отряде было довольно вольготно. Люди все какие-то веселые, шумные. Новеньких разместили в теплых казармах. К утру всех выстроили для знакомства с атаманом.

\* \* \*

Бочкарев появился перед строем неожиданно. Кто-то гаркнул «смирно», хотя люди и без того стояли навытяжку. Баграт представлял, что Бочкарев толстый и старый. Но перед ним

стоял довольно молодой поджарый человек с черными вьющимися волосами и пышными усами. Нормальный человек. Даже приятный, если бы не бегающие, что-то ищущие глаза.

— Больные, раненые есть? — спросил Бочкарев.

Солдаты в строю молчали. Баграт хотел было сказать о своей ноге, как-то весь выпрямился, вытянулся, но стоящий рядом Иван Петров незаметно для всех предостерегающе дернул его за рукав.

— Мне нужны здоровые воины, — продолжал Бочкарев, — очень скоро мы отправимся в трудный путь. Вам суждено спасти Россию от всякой нечисти. Никакой пощады врагу. И вернемся мы из похода уже в свободную Россию не только с победой, но и с богатством. Думаю, что вы все наслышаны о порядке в моем отряде. Предателей, большевиков и всякую красную сволочь казню я сам. Лично. А любого, кто сомневается в нашей победе, кто попытается вносить смуту в отряд, уничтожат казаки или офицеры без суда и следствия. Мне нужны отчаянные люди. Люди, преданные России. Тогда мы горы перевернем. С нами Бог!

Слушали атамана молча, в каком-то страхе. Даже после команды «разойтись» долго не могли прийти в себя. Все молчали. Боялись делиться друг с другом впечатлениями о встрече с атаманом.

Вечером, улучив момент, когда рядом никого не было, Баграт тихонько сказал Ивану Петрову:

— Прямо и не знаю, как быть. Нога у меня ноет. Боюсь, рана откроется...

— Придется терпеть, Баграт, — так же тихо ответил тот, — другого выхода у нас нет.

Баграту стало теплее на душе от этого «у нас».

— Придется терпеть, конечно, никуда не денешься, — согласился Баграт, — но ты слышал, что сказал этот Бочкарев? Он же сказал, что скоро мы все отправимся в трудную дорогу. А какая дорога с больной ногой?

— Придется терпеть, Баграт, — повторил Петров, — другого выхода у нас нет. Ты пойми, не случайно Бочкарев устроился в такой глуши, в такой дали от города, от железнодорожной станции. Это не просто лес. Это тайга. Все сделано с умыслом. Никуда не удерешь. Судя по всему, мы попали в настоящую банду.

— Честно говоря, мне тоже не нравится все это. И атаман с бегающими глазами, думаю, не Россию спасти хочет, а что-то другое.

— Вот поэтому, Баграт, надо выждать и разобраться во всем. Если уж нет выхода отсюда, то хоть поживем и поглядим, что замышляет Бочкарев.

— Не понимаю я многое, Иван. За последний год все у меня в голове перемешалось. Раньше-то было ясно. Я вместе с русскими воевал против немцев за Россию. А сейчас? Вот скажи: почему твой брат с красными, а ты с белыми?

— Трудно мне тебе на это ответить. Просто нам разные дороги выпали. Ведь мы с тобой к белым попали случайно. Нас вернули с немецкого фронта и сказали, что будем теперь Россию спасать от большевиков. А уж о том, что одни в России за белых, а другие за красных, это мы узнали позже. Помнишь, письмо я получил от Василия, брата моего? Он среди красных. И он пишет, тоже спасает Россию. Вот и поди разберись, кто из нас прав. Не знаю, как Василий, но я, похоже, здесь совсем не для того, чтобы спасать Россию. В общем, попали мы с тобой, Баграт, как кур в ошип. Остается ждать. И смотри никому не говори о нашем с тобой разговоре. А то наш Бочкарев, по всему видно, долго думать не любит. Мне третьего дня рассказывали, что он своими руками бросил в топку паровоза трех партизан...

— Быть этого не может! — удивился Баграт. — Он же не турок. Это турки загоняли в деревянные дома женщин, которые отказывались принять ислам, и поджигали дома.

— Тут дело не в том, кто турок, а кто русский. Дело все в том, кто этот человек, что у него в голове, что у него за душой, чего он хочет.

— Иван, ты, конечно, многое знаешь, больше моего видел в жизни, но я тебе скажу вот что, и ты послушай меня. Не может этот Бочкарев, который, как ты говоришь, сжег троих в топке паровоза, не может он спасать Россию. Такие люди ничего не могут спасти. Они могут только убивать и грабить. И мы здесь для того, чтобы помочь ему. Вот что страшно.

— Но ведь можно не помогать. Можно мешать.

\* \* \*

Натсайа стояла у изголовья оперируемого, наклонившись над ним. Она продолжала вытирать его лицо и не переставая повторяла: «Милыган лелат».

— Что ты говоришь, Наташа? — спросил Баграт, морщась от боли.

В ответ она вновь повторила непонятное ему «милыган лелат».

— Это она говорит, что у тебя огненные глаза, — сказал Лукашевич, перевязывая ниткой кровоточащий сосуд.

— Доктор, можно еще немного спирту?

— Потерпи, Баграт. Все идет хорошо. Если хочешь, поговори о чем-нибудь. Так будет легче...

— Не люблю я говорить. Привык молча разговаривать. Сам с собой. Когда я попал в русскую армию, можно считать, ни одного русского слова не знал. И я все время молчал. Потом, когда научился говорить по-русски, все равно больше молчал. Иногда, бывало, поспорю с кем-нибудь, так он даже не догадается об этом, потому что я спорил мысленно. Вот ты, доктор, сейчас сказал, что все идет хорошо, а я уже подумал о том, как это смешно. Человеку отрезают ногу, и ему же говорят, что все идет хорошо. Ведь я останусь в живых. А мне теперь как никогда хочется жить. Нет, я неправильно сказал... мне нужно жить. Я один остался на этом свете... Дайте спирту. Потерпеть могу, конечно. Только вот устал от боли.

\* \* \*

Темно-свинцовые тучи спустились над морем так низко, словно готовы были слиться с ним. И вода была такого же цвета, как тучи. Только белые барашки волн, подгоняемые ветром, сталкиваясь, схлестываясь, торопливо бежали к берегу. Моросило.

Качка мешала нормальному ходу судна, которое то высоко поднималось, подхваченное очередной волной, то резко падало вниз, вонзаясь тупым выступающим носом в воду. Пассажиры, а их было не менее пятисот человек, страдали морской болезнью. В капитанской рубке вместе с командиром корабля стоял высокий поджарый офицер с черными вьющимися волосами и бегающими глазами. Тяжелая дверца рубки открылась, и вошел плотный мужчина с черной повязкой на левом глазу.

— Господин полковник, — обратился он к офицеру, — только что один из наших молодцов пристрелил казака.

— За что? — спокойно, словно как-то нехотя спросил Бочкарев.

— Он оказался красным.

— Поделом, — так же равнодушно сказал Бочкарев, — и вот что, подполковник Шевчунас, передай офицерам, чтобы глядели в оба. Командир корабля рассказывал мне, что всегда в таких рейсах находятся смутьяны, желающие поднять бунт. Любого, кто вызывает подозрение, — за борт.

Корабль шел на север Охотского моря. Ему предстояло пройти залив Шелихова, войти в Гижигинскую губу и высадить отряд в поселке Гижига. К этому вояжу Бочкарев готовился тщательно. Он намеревался в этих местах переждать осень и зиму, чтобы потом через Чукотку добраться до Аляски, а там видно будет. Впрочем, он не сомневался, что на Аляске его будут ждать. Недаром он завел тесные связи с главой американской торговой фирмы Олафом Свенсенем.

...Часть отряда расположилась в Гижиге, другая — вместе с командованием, штабом и радиостанцией — выехала на собаках в соседний поселок Наяхан.

Иван Петров и Баграт оказались вместе в Наяхане. К тому времени они крепко подружились. Ивану Петрову нравился молчаливый армянин, повидавший на своем веку много горя. Баграт, в свою очередь, ценил дружбу с Иваном Петровым, человеком бесстрашным и беспредельно влюбленным в свою землю.

В день прибытия в Наяхан у Баграта открылась рана на ноге. Еще бы ей не открыться — он, как и все, более двух суток путешествовал на собачьих упряжках.

О своей беде он здесь же рассказал Ивану Петрову, и тот обещал уговорить бочкаревского лекаря втихомолку подлечить друга. Но Баграт решительно отказался.

— Я раз обратился к этому извергу, так он мне сказал, что, если, мол, у тебя что-то серьезное, лучше залезай в петлю, все равно батя прикончит.

— Ишь ты, зверье! Это они бандита Бочкарева называют «батей». Ничего, Баграт, что-нибудь другое придумаем. В этих местах живут эвены. Добрый, говорят, народ. У них, наверно, найдется какой-нибудь шаман, умеющий лечить травами.

— Где мы найдем этого самого шамана. Ты же видишь, как в отряде готовы друг друга сожрать, доносами занимаются, да по пьянке могут и убить невинного человека.

— Ничего, Баграт. Вот мы этим их оружием и воспользуемся.

— Как это?

— Потерпи, брат. Скоро все узнаешь.

И Баграт действительно скоро все узнал. Оказалось, что Иван Петров, предварительно разузнав о том, кто из местных жителей смог бы приютить раненого друга, добился приема у Бочкарева, рассказал ему о раненом армянине, который мог быть отряду в дальнейшем помехой, и попросил, чтобы расстрелять армянина поручили ему. Для пущей важности Иван Петров добавил: «Правда, жалко парня, как-никак георгиевский кавалер, но ни-



чего не поделаешь. В тягость он нам». Бочкареву понравился этот казак из новеньких, и он не только дал на все свое согласие, но и приказал после окончания дела явиться на беседу.

Петров отвел больного друга к старому эвену, который жил один в юрте и славился на всю округу своим знахарским искусством. Теперь Багра́т не имел права выходить из юрты, так как все знали в отряде, что он «расстрелян». Часто Иван навещал своего друга. Приносил хлеб и консервы. Через некоторое время он стал приходить не один. Двое или трое сопровождали его. Багра́т все хотел спросить у Ивана, не слишком ли он доверяется другим, но так и не мог улупить момента сделать это.

Старого эвена, потомственного шамана, за его одиночество называли Ата́сик, что на языке аборигенов Чукотского полуострова означает «один». Жители Няяхана удивлялись, как это Ата́сик согласился приютить у себя в юрте чужого человека, который может вызнать у шамана секреты лечения. Они не помнили на своем веку такого, чтобы в шаманской юрте спал кто-либо другой. А тут уже пошел третий месяц, как Багра́т поселился у старого эвена. Несмотря на все старания шамана, на все его колдовство, дела у больного шли плохо. Рана не закрывалась, и по-прежнему гостя часто лихорадило.

Багра́т привык к тому, что два-три раза в неделю к нему заходил Иван Петров с кем-нибудь из друзей. И он заволновался не на шутку, когда однажды друг словно бы исчез и не появлялся полмесяца. Он уговорил старого эвена подойти поближе к казармам и постараться разузнать там, в чем дело.

«Что-то случилось, раз он не приходит, — думал Багра́т. — Неужели Бочкарев... Уж больно возбужден был в последнее время Иван. Для чего он втерся в доверие к атаману? Ведь не только для того, чтобы меня пристроить. Но тогда для чего еще? Предать он не сможет...»

Раздумья Багра́та прервал шаман, обычно молчаливый и даже угрюмый. Он ворвался в чум явно возбужденный.

— Кончился Бочкарев. Нет Бочкарева! — закричал он с порога.

— Что ты такое говоришь, Ата́сик? — в недоумении спросил Багра́т.

— Я говорю, кончился Бочкарев.

— Как это кончился?

— Кончился. Нет Бочкарев. Все кончился. Половина офицеры арестован, сидят казарма. А еще половина увезли море пароход «Михаил».

— Ничего не понимаю. Объясни ты толком, Атасик.

— Надоел ты мне, однако. Я тебе говорю — кончился. А ты ничего не понимаешь. Твой Иван Петров пошел море. Он арестовал офицеры и связал руки и ноги Бочкарев. Связал и увез на пароходе «Михаил» море.

— Вот теперь я совсем ничего не понимаю...

— Ну и медведь ты, однако. Давай лучше перевязка делать.

Баграт и в самом деле толком не мог понять, что произошло. И оставался в неведении еще две недели, ибо в эти дни никто, кроме шамана, не заходил в юрту. За это время к физическим болям Баграта прибавились душевные. Он переживал за Ивана Петрова. Он верил, что его друг смог пойти на такое, и в то же время сомнения мучили его потому, что слишком уж хорошо знал он и Бочкарева, которого не так-то легко свалить. Но долго терзаться сомнениями не пришлось. Спустя еще две недели в юрту к шаману явился знакомый казак, один из тех, кто вместе с Иваном навещал Баграта. И казак рассказал все, как было.

Ивану Петрову удалось арестовать не только Бочкарева, но и начальника штаба генерала Полякова и других офицеров. Он бы мог всех их расстрелять, но оказалось, что в поселке Ола, находящемся недалеко от Наяхана, на берегу Охотского моря, расположился еще один отряд, который тоже подчинялся Бочкареву. Тогда Иван Петров решил Бочкарева и его ближайших помощников на судне отвезти в Олу и убедить отряд в бессмысленности сопротивления. Он хотел предупредить лишнее кровопролитие, показав отряду арестованных главарей банды. Но в последний момент арестованным удалось разоружить конвоиров и перебить на судне мятежников. Бочкарев выпустил несколько десятков пуль в Ивана Петрова.

На том же «Михаиле» атаман и его люди вернулись в Гижигу, где расстреляли человек двадцать, и вот теперь они в Наяхане чинят суд над каждым, кто якшался в свое время с Иваном Петровым.

Казак, который рассказал все это Баграту, сам чудом спасся и теперь решил с помощью шамана переодеться, укрыться в чьем-нибудь доме.

Старый эвен помог казаку спрятаться у своего родственника и, вернувшись домой, вытащил из каких-то вещей, сложенных у одного изпологов чума, густо смазанный жиром винчестер. Он уселся у костра и начал старательно чистить ветошью оружие.

— Ты, однако, не бойся, — сказал он, обращаясь к Баграту, — я стреляю очень хорошо. Если Бочкарев придет убить тебя, я убью Бочкарев. Я убью всех, кто хочет тебя убить. — И шаман положил заряженный винчестер возле своего кукуля.

...Четвертый день подряд выла пурга. Тонкие стены чума натягивались как паруса то с одной стороны, то с другой. Бесперывно горел костер, возле которого лежали Баграт и шаман. Свет в чуме давал все тот же костер. Обитатели чума в пургу даже чай пили лежа. По вечерам обычно ели неизменную вареную оленину. Днем обходились сушеной соленой рыбой. Чай заваривали кореньями шиповника. Друг другу они не были в тягость. Наверно, потому, что оба были людьми молчаливыми. В первые два-три дня, перекинувшись короткими фразами, рассказали друг другу немного о себе, и после этого говорить было не о чем. Только порой, когда от острой боли у Баграта вырывался стон, хозяин юрты вылезал из кукуля, брал гостя за плечи и что-то говорил на своем языке.

Как-то ранним утром шаман и Баграт проснулись от перестрелки.

— Атасик, узнай, что случилось, — попросил Баграт.

— Ты лежи. Я узнай, — сказал Атасик и вышел из юрты. (В настоящее время на Крайнем Севере почти равнозначно звучат термины юрта, чум, яранга. Все это переносные жилища кочевников. Юрта у оседлых и полuosедлых народов, чум и яранга — в оленеводческих бригадах.)

У Баграта почему-то радостно защемило в груди. Любая перестрелка говорила о том, что кто-то борется с Бочкаревым. «Не будет же этот бандит просто так стрелять в воздух. Да и на салют непохоже». Баграт оказался прав. Шел настоящий бой. Никто не ожидал, что с востока может появиться противник. Даже видавший виды Бочкарев не мог подумать, что в такое время года это возможно. Но смелые люди совершили невозможное. В течение трех месяцев небольшой отряд красноармейцев из двадцати ребят, каждому из которых было чуть больше двадцати, во главе с боевым командиром Григорием Ивановичем Чубаровым шел на собачьих упряжках по белой безмолвной тундре, чтобы перекрыть путь Бочкареву, который намеревался с награбленным золотом и пушниной удрать за границу. Но Чубаров не только выполнял приказ революционного командования. Вместе с друзьями-собратниками он спешил на север, чтобы отомстить за друга — Сергея Лазо. И больше всего в своем многомесячном, многотысячном белом марафоне Чубаров боялся, что не успеет, но — успел.

Обо всем этом Баграту рассказал через три дня сам Чубаров, узнавший, что в юрте старого шамана прячется раненый казак, который был другом Ивана Петрова. Григорий Иванович явился к шаману в юрту вместе со своим лекпомом Филиппом Русиным. Пока фельдшер делал перевязку, смазав рану какой-то вонючей мазью, командир расспрашивал Баграта об Иване Петрове.

— Господин Чубаров, — попросил Баграт, когда Русин закончил перевязку, — помогите мне выбраться отсюда.

— Сейчас нет господ, — улыбнулся Чубаров, — надо говорить «товарищ».

— Хорошее слово, — сказал Баграт, — по душе оно мне. Но вы мне не ответили. Сами видите, здесь я долго не протяну. И потом... если, как вы говорите, везде уже наступил мир и свобода, если, как вы говорите, есть еще Армения, мне нужно непременно уехать на родину.

— Хорошо. Русин полечит вас до прихода за нами судна, и тогда я вас, обещаю, довезу до Петропавловска. А там сами...

— Спасибо... Смотрю я на вас и думаю, что же я такое забыл сказать вам. Оказывается, я забыл сказать самое главное — об Иване Петрове. Брат у него, Василий, был, как и вы, большевик. Выходит, прав был Василий. И, выходит, Иван Петров узнал об этой правде позже. И я за это время тоже кое-что научился понимать. И еще хотел бы спросить...

— Спрашивай.

— Вот гляжу на тебя, вроде бы ты русский. Лицо, волосы, глаза. А вот фамилия твоя, знаю, не русская. Откуда она?

— От отца и деда.

— А ты знаешь, что у нас во многих армянских деревнях были Чубаряны?

— Мне отец говорил, что корень нашей фамилии тюркский. Но что означает, он не знал.

— В Турции на государственном уровне фамилии и имена армянам, грекам, курдам писали на свой лад. Давали по профессии, по кличке, по цвету кожи...

— Ну, и как переводится «чубар»?

— Чубар, или чувар переводится как пегий, пестрый. Правда, дед мой, священник, знавший много языков, считал, что это слово на фарси, на персидском. Так называют также и лошадей.

— Лошадей? Это хорошо, я люблю лошадей, — засмеялся Григорий.

Второй раз в жизни Баграт пересекал на судне море. И словно по разным морям судно проходило. Одно было тревожное, придавленное свинцовым небом. Другое — тихое и нежное, отражающее голубое небо с редкими белыми облаками, и главное — оно на этот раз было бескрайним.

С левого борта старого норвежского судна «Руби», на котором возвращались красноармейцы, были едва видны очертания камчатского берега.

На третьи сутки плавания Баграту стало плохо. Вновь, как это не раз бывало, его залихорадило. Временами он начинал бредить. Русин осмотрел рану, заново перевязал и направился в каюту к командиру. Чубаров в это время беседовал с временным хозяином судна, представителем торговой инспекции Ливановым, который и получил приказ от командования вывезти из Гижиги красноармейский отряд.

— Григорий Иванович, — обратился к командиру Филипп Русин, — с нашим армянином совсем худо. Он может не дотянуть до Петропавловска.

— Что у него? — спросил Чубаров.

— Совсем худо. Кость вся изъедена гноем. Сильная лихорадка. Без ампутации не обойтись, а здесь, на судне, я не в силах ему помочь. Человека можем потерять зазря.

— К полудню мы будем в Усть-Тигиле, — вмешался в разговор Ливанов, — там должны сойти на берег тигильчане, которые присоединились к вам в пути, — можно с ними высадить и раненого.

— А там как? — спросил Чубаров.

— А там партизаны повезут его по реке до Тигиля, где как раз сейчас в новой больнице работает Лукашевский.

— Кто он такой?

— Знаменитый в этих краях фельдшер. Все умеет делать.

...Судно, казалось, шло прямо к берегу.

Уже были хорошо видны скалы, деревья. Вроде бы еще минута — и судно причалит к берегу. Но чем ближе была земля, тем заметнее отдалялись деревья и скалы от судна. Впереди был остроносый мыс Южный, который в этих местах всегда вводил моряков в заблуждение. Едва только обогнули его, вновь показался настоящий берег.

Стали на рейде недалеко от устья реки. Спустили несколько шлюпок, которые поднимались на небольших волнах и временами ударялись о массивный борт «Руби». Красноармейцы окружили лежащего на деревянном щитке Баграта. Они по очере-

ди жали его горячую руку и каждый раз при этом говорили что-то свое. Последним попрощался Чубаров.

— Ну, БаграТ, видать, Богу угодно, чтобы мы расстались. Может, мне сообщить куда?.. Какому-нибудь родственнику на материке?

— У меня никого нет, Григорий Иванович.

— Вот тут Ливанов говорит, что фельдшер, который будет тебя оперировать, опытный специалист.

— Мне б только боль снять, хоть на время.

\* \* \*

БаграТ проснулся от сильной жажды и острой боли в ноге. В крохотной палате с толстыми бревенчатыми стенами стояла еще одна койка, на которой лежал, укрывшись ветхим байковым одеялом, старичок с жидкой бороденкой. Щеки впалые, кожа землистого цвета. Жесткие густые брови чуть ли не закрывали глаза.

— Тебе что-нибудь нужно? — тихо спросил старичок, обращаясь к БаграТу.

— Я пить хочу.

— И я тогда, после операции, пить хотел. Это от спирта. Ты потерпи немного, сейчас придет Натсайа. Тут больше никого нет.

— А что у тебя? — спросил БаграТ.

— Да так.

БаграТ хотел было приподняться, но не смог. После следующей попытки он почувствовал режущую боль в ноге и весь скорчился.

— Тебе нельзя двигаться, это опасно, — предупредил сосед по койке.

— Сесть хочется. У меня спина болит больше, чем нога, — БаграТ сумел-таки сначала приподняться на локти, а затем присесть, — словно спину мне резали, а не ногу.

Вспомнив об операции, БаграТ тотчас же нагнулся и начал руками шарить поверх одеяла. Он сначала дотронулся до здоровой ноги, потом повел рукой рядом и через какое-то мгновение замер, словно его схватили за руки.

В палату вошла Натсайа. Увидев больного сидящим на постели, она бросилась к нему, схватила за плечи и заставила лечь.

— Нельзя, — сказала она тихо и ласково, — доктор Лукашевский не разрешает вставать.

БаграТ ничего не ответил. Он смотрел в лицо девушки и ничего не видел. Она присела на край постели, взяла его руку в свою и, тихо поглаживая ее, сказала:

— Все хорошо. Доктор Лукашевский сказал, что ты сильный. Все хорошо.

— Покажи мне, что там... — попросил Баграат, кивнув на одеяло.

— Нельзя. Доктор Лукашевский сказал, что он сделает тебе новую ногу.

— Как это — новую?

— Доктор сказал, что сделает протез и ты сможешь ходить.

— Ты хорошая девушка, Натсайа.

— Доктор Лукашевский тоже говорит, что я хорошая.

— Доктор тоже хороший человек. Ты так часто произносишь его имя. Наверно, его любишь.

— Я тебя люблю.

— Ты добрая, Натсайа. Ты еще совсем маленький ребенок. Ты лучше принеси мне воды. Я пить хочу.

Натсайа кинулась выполнять просьбу больного. Оба обитателя палаты, как только она ушла, посмотрели друг на друга и улыбнулись.

— Хорошая девушка, — сказал Баграат.

— Хорошая, — согласился сосед.

— Совсем еще ребенок. Ты слышал, что она сказала? Это, наверно, у них так принято. Чтобы уменьшить страдания человека, говорят «я люблю тебя». А вот у нас в Армении говорят «цавыт танем», — это значит: я возьму на себя твою боль...

— Ничего у них так не принято, — сказал сосед, — просто коряки доверчивый народ. Они не скрывают своих чувств. И если девушка сказала, что любит тебя, — значит, она тебя любит.

Вошла Натсайа, неся в руке тяжелую медную кружку. Она подошла к Баграату, приподняла его голову и поднесла кружку к губам.

— Пей, мой милыган лелат. Только пей маленькими глотками, так всегда говорит доктор Лукашевский.

\* \* \*

Баграта готовили к выписке. Он уже довольно ловко передвигался с помощью костылей. Доктор Лукашевский заставлял его ходить с утра до вечера. Однажды он сказал ему, что если Баграат не научится ходить с костылями, то никогда не сможет привыкнуть и к протезу, который он сам, доктор Лукашевский, готовит для него.

— Ты только не волнуйся, — улыбнулась тогда Натсайа, — доктор Лукашевский сделает тебе настоящую ногу. Вот увидишь.

Все засмеялись. А она почему-то покраснела и неожиданно выскочила из палаты. Вскоре ушел и Лукашевский.

Баграт поставил костыли в углу и взялся за спинку койки. Улегшись удобно, он посмотрел внимательно на своего соседа и заметил, что в последнее время тот еще больше похудел и еще больше пожелтел. Но сказать об этом ему было неудобно. «Интересно, сколько уже времени лежим в одной палате, можно считать что породнились, братьями стали, а ничего я о нем толком и не знаю». И, думая, что настал подходящий момент задать вопросы, Баграт сказал:

— А ведь я даже не знаю, кто вы такой, имя ваше, не сердитесь, я никак не могу выговорить. Лицом вы — не то русский, не то местный.

— Имя у меня и в самом деле тяжеловатое — Тымыртыгин. А вот насчет лица вы ничуть не ошиблись. Я русский... наполовину. Мать моя родом отсюда. А вот ваше лицо... Никогда не приходилось мне видеть таких.

— У нас в Армении все такие, — сказал Баграт. — Черные мы, волосатые, и носы у нас крупные.

— Глаза у вас необычные. Здесь, в наших краях, таких не встретишь. У иных и глаз-то не видно. Говорят, от ветра и пурги человек все время у нас щурится. Так что худо вам будет в пургу с такими большими глазами. Не случайно Натсайа говорит «милыган лелат» — огненные глаза...

— Скажи мне, я все спросить тебя хотел, а почему ты тогда, после операции, говорил, что если такая девушка, как Наташа, сказала, что любит, значит любит? Почему ты так говорил?

— Это так. Натсайа хорошая девушка. Из Седанки она. И я оттуда. Только она больше жила в тундре, с отцом. Там у них табун оленей. Появлялась иногда в поселке — маленькая, худенькая, шустрая. Потом вдруг через некоторое время я ее встречаю в поселке и не узнаю. Взрослая девушка. Скромная. Слово какое скажет и покраснеет. Долго не может собеседнику в глаза смотреть, словно знает, что люди удивляются: откуда вдруг такая красота появилась... Улыбнется — и, веришь, все вокруг начинает сиять...

— А как она сюда попала, в больницу?

— Это было прошлой осенью. Уже стоял глубокий снег. Ее отец перегонял оленей. Вообще местные часто меняют пастбища. Не заметил он под снегом большого камня. Упал да и ударился шибко. Тут-то и случилось все. Дочь тащила отца к юрте километра четыре. Сама же запрягла ездовых оленей и привез-



ла отца в поселок. Народ собрался. Каждый дает советы. Пошли за шаманом, а того нет в поселке. Удрал. Кто-то и скажи, что недавно в Тигиль приехал доктор Лукашевский. Натсайа не стала долго раздумывать. Сменила оленью упряжку на собачью и вновь отправилась в дорогу. Помню, как старики все удивлялись вслух, как это такая молодая девочка, а догадалась, что надо менять упряжку. Ведь и в самом деле: во-первых, олени, как только устанут, уже не годятся для езды, это не то что двухильные собаки, а во-вторых, дорога от Седанки до Тигиля хоть и не длинная, но с частыми крутыми перевалами, а такая дорога трудная для оленей, запряженных в груженую аргизу. Так вот, привезла она отца в больницу и осталась ухаживать за ним. Вот тут-то доктор Лукашевский и уговорил ее выучиться на сестру милосердия. Он говорил, что с таким сердцем, как у Наташи, надо работать только в больнице. Осталась с тех пор она здесь. Отец выздоровел, уехал в тундру. Пока был снег, она не раз ездила к нему в табун. Но всякий раз дня через четыре возвращалась. А сейчас, с наступлением лета, она не может поехать. Дорог нет. Когда мне делали операцию, первое время было совсем худо, так она не отходила от меня. День и ночь сидела возле и все рассказывала о чем-нибудь.

— Ты хоть можешь объяснить, что с тобой было?

— Говорить-то нечего. Просто я дважды родился на свет. И лучше бы во второй раз не родиться.

— Это почему же?

— Не нужны мне лишние месяцы и дни, когда все равно один конец, да еще такой мучительный. Я же знаю, что мне не выжить.

— Не прав ты, — сказал Баграт, — каждый день — это тоже дело. Я уже один раз умирал. Мне и сейчас иногда кажется, что я давно умер, что я — это не я, а совсем другой человек. Я уже привык к такой жизни. Никому не хочется говорить об этом. И знаешь, почему? Так много видел людей, у которых есть своя боль, свое горе, что о своем не решаешься и говорить; может, это и спасло меня. Иногда вспомню прошлое и думаю, что надо было мне тогда же умереть, а потом заставляю себя думать иначе. Ведь если бы я тогда умер, то кто же помнил бы о родных моих, кто бы носил в груди боль памяти... И еще думаю о том, что тогда не пришлось бы узнать Ивана Петрова, старого эвена, Филиппа Русина, Григория Чубарова...

— Кого, ты говоришь? Чубарова? — перебил Баграта сосед.

— Чубарова. А ты знал его?

— Знал. Не то слово — знал. Я его возил на своей упряжке от Седанки до Воямполки. Как же мне не знать Григория Чубарова! Он еще говорил, что едет Бочкарева ловить. Хочет отомстить за друга. Месяца три назад Лукашевский зашел в палату весь какой-то сияющий и сказал, что чубаровцы добились всех бандитов. И начал меня поздравлять. Я ему говорю: чего это вы меня поздравляете? А он отвечает: мол, как же, это ты помог ему пройти часть пути. Это же тебя, мол, назначили ответственным за Советскую власть. Верно, помог. За это теперь и страдаю.

— Как так? — удивился Баграт.

— Вернулся я тогда, значит, в Седанку, прошло дня три или четыре, и ночью вваливаются ко мне в дом бандиты. Сбросили меня сонного с постели и потребовали печать. А так как я им печать не дал, то здесь же, при беременной жене, принялись они молотить меня сапогами. Перестали бить, когда я потерял сознание. Пришел в себя я уже здесь, в больнице. Лукашевский да вот Натсайа меня выходили. Оказалось, все кишки у меня порваны, а уж о ребрах и говорить не стану.

— А кто они такие?

— Были здесь бандиты. В каждом поселке свои. Одни представляли американского коммерсанта Свенсена, другие — русских купцов. Одним словом, прихлебатели. Грабили людей. За чекушку японского спирта шесть соболей брали. А тут вдруг объявился Чубаров со своей командой. Красные флаги водрузили на домах. Так всем, кто красноармейцам помогал, потом досталось от бандитов. Но и они, бандиты, вскорости погорели. Думали, чубаровцы пришли и ушли, а тут через неделку прибыли другие красноармейцы и вымели всех их.

Баграт вспомнил Чубарова. Ничего вроде такого особенно-го не говорил тот на прощание, но почему-то помнились слова: «Может, сообщить куда?» И еще Баграт помнил, как вдруг голубые глаза Чубарова стали печальными, когда узнал он, что сообщить некуда. Когда на всей земле нет ни одного человека, кому можно было бы сообщить о своей беде, — это тоже беда. После смерти родных сама судьба уготовила Баграту встречу с хорошим человеком, с Иваном Петровым, но и того убили.

Мысли о Чубарове, об Иване Петрове вернули его в прошлое. Словно бусинки, нанизывались на нить памяти встречи, люди, слова, дороги. И он уже знал, что мысли его в конце концов вернуться в деревню на высокой горе и перед его глазами один за другим пройдут дед, отец, мать, жена, дети.

Сосед по койке продолжал говорить, но Баграт его не слышал. «Что теперь будет со мной, — думал он, — как я смогу вернуться на родину, домой?.. Если бы у меня был этот дом, если бы остался хоть кто-нибудь... Если бы оставались хоть какие-нибудь надежды, что кто-то жив. Ведь все страшное произошло на моих глазах. Я все помню, только одного не помню и даже не почувствовал, — как мне выстрелили в ногу».

\* \* \*

Баграт проснулся от обилия света. Солнечные зайчики прыгали на противоположной стене. Один из них соскользнул вниз и медленно пополз по одеялу соседа. Баграт следил, как передвигается по койке светлое пятно, желая уловить тот самый момент, когда оно исчезнет, и вдруг неожиданно взглянул на лицо соседа. Он часто видел Тымыртыгина спящим, но сейчас лицо его показалось незнакомым, оно будто помолодело. Баграт приподнял голову, напряженно вслушиваясь в тишину. Он не слышал дыхания соседа. Достав костыли, подошел к Тымыртыгину. Дотронулся рукой до лба и почувствовал ледящий холод. Приподняв простыню, накрыл покойного с головой.

Баграт вернулся к своей койке и уселся на нее, положив костыли рядом. Вдруг он отчетливо представил, как те бандиты, о которых говорил сосед, ворвались ночью и стали бить сонного. Сколько же зверья живет на этом свете...

Мысли Баграта прервала Натсайа. Как всегда, она вошла неожиданно и громко поздоровалась по-корякски: «Амто». Обычно на ее приветствие они оба отвечали «амто». Но сейчас палата встретила ее молчанием, и она догадалась, в чем дело, медленно подошла к койке Тымыртыгина и, наклонив голову, приподняла простыню.

Увидев желтое высохшее лицо, она неожиданно закричала, упала на колени.

В следующую ночь Баграт не мог сомкнуть глаз. «Смерть, смерть... Сколько я их видел... Дед, часто ссылаясь на народную мудрость, говорил, что когда умирают тысячи — никто не удивляется, а когда умирает один — удивляются все. Я долго не мог понять, что это означало. Потом дед мне растолковал. В самом деле, ежедневно умирают по всей земле тысячи человек, и многим до этого дела нет. А умрет человек, которого ты знал хорошо, и кажется — небо падает на землю».

Утром Баграт узнал, что Тымыртыгина будут хоронить в Тигиле, а не на его родине — в Седанке. Дороги размыло дождем.

Не повезло Тымыртыгину. Не дожил самой малости до зимы. Неделя-другая, и кругом было бы белым-бело, тогда бы и дорога открылась до Седанки, находящейся всего в тридцати километрах от Тигиля. Обо всем этом Баграту говорил доктор Лукашевский и вспоминал случаи из своей врачебной практики, когда по весне и осени зачастую невозможно бывало попасть вовремя к тяжелобольному.

Давно привезли на полуостров лошадей, но пока еще не во всех поселках они прижились. Да и там, где они были, на них ездили только верхом. Никаких арб, фургонов, обозов не было. Вот и ждали люди зимы. Слава Богу, она в этих местах долгая и длинная. В снег — одна благодать. Собачьи и олени упряжки могут пройти где угодно. Так что не повезло Тымыртыгину. Он все хотел, чтобы его схоронили в Седанке, возле сопки.

Впервые за последние годы Баграт по-настоящему задумался над тем, что такое расстояние. Он думал о нем с какой-то боязнью и тревогой. Человек умер в тридцати километрах от того места, где родился, и невозможно его похоронить дома. Дорог нет. Тундра. Всего-то тридцать километров. А сколько же до Армении? И ведь эту дорогу до родного края трудно измерить.

Баграт, сидя на койке, с ужасом смотрел на свою культу.

\* \* \*

Высокий грузный Лукашевский с пышными казацкими усами и тонкая маленькая Наташа в ту минуту, как это ни странно, были чем-то похожи друг на друга. В их облике и позе было что-то общее, словно они оба приготовились к прыжку. Баграт стоял посреди палаты и, вытянув дрожащие руки в стороны, готовился сделать шаг. Первый шаг. До этого он долго тренировался. Деревянный протез уже неплохо его слушался. Но передвигаться он мог только с помощью костылей. А тут решил сделать первый самостоятельный шаг без костылей и даже без палки.

Как-то Лукашевский обронил фразу: «Вот когда научишься передвигаться без помощи костылей, значит, пришло время выписываться и, значит, смастерил я тебе настоящий протез». С тех пор Баграт мечтал о дне, когда он сделает этот самый шаг. И вот теперь с испариной на лбу, покачиваясь из стороны в сторону, он стоял и смотрел на пол, словно искал место, на которое нужно ставить ногу. И когда, казалось, облюбывал его, слегка приподнял тяжелый протез, повел его в сторону и осторожно поставил на нужное место... Потом чуть подался вперед

и в тот же миг приставил другую, здоровую ногу. Баграт поднял счастливое лицо. Его глаза и плакали, и смеялись. Лукашевский и Наташа бросились к нему и помогли сесть на койку.

— Ну, Баграт, теперь ты уже казак, — сказал Лукашевский. — Но советую тебе не расставаться с палкой. Отныне ходить тебе на трех ногах. Палка — она половину нагрузки может взять на себя. Правильно я говорю, Наташа?

— Правильно, доктор. Конечно правильно. Ты всегда говоришь правильно.

— Ты слышишь, Баграт? Она считает, что я всегда правильно говорю. Запомни это.

— А что, разве не так? — сказала Натсайа, краснея. — Ты же доктор Лукашевский...

— Так, Наташа, конечно так, — согласился Баграт. — Тот, кто правильные дела делает, тот и правильно говорит...

— Ну да ладно, — перебил его Лукашевский, — заладили — «правильно, правильно». Давай-ка лучше подумаем о том, что ты дальше-то делать будешь.

— Не знаю пока, — признался Баграт.

— Где ты жить собираешься?

— Попытаюсь добраться до родины. В живых никого не осталось, но земля-то наша есть. Там и погляжу, что к чему.

— А как ты доберешься до родины своей?

— Пусть он будет жить в Седанке, у нас, — неожиданно быстро выпалила Натсайа.

— А вот тебя не спрашивают, — сказал, не скрывая улыбки, Лукашевский, — ты еще маленькая, чтобы встречать в разговор старших.

— Я не маленькая.

— Как не маленькая?

— Я взрослая. Я не знаю, где родина Баграта, но знаю, что ему сейчас туда не добраться. А у нас ему будет хорошо.

— Почему ты думаешь, что ему у вас будет хорошо?

— Потому... Потому что... я люблю Баграта, — сказала Наташа и выпорхнула из палаты.

— Сумасшедшая, — смутился Баграт.

— Ничего не сумасшедшая, — сказал Лукашевский, — чистый человек, нежная душа. А что, Баграт, может, и впрямь ты поедешь в поселок? Отец Наташи добрый человек. Поможет на первых порах. Да и слаб ты еще, чтобы отправляться в долгую дорогу. И потом, с год тебе походить надо на протезе, мозоли надо нажать, чтобы чувствовать себя уверенней.

— Выбора, конечно, у меня нет. Покойный, — Баграт кивнул на койку Тымыртыгина, — тоже говорил, что Наташа не шутит, теперь вот ты так говоришь. Только сдается мне, что лучше уж остаться мне пока в Тигиле. Найду себе какую-нибудь работу. Научусь шить торбаса из оленьей шкуры, как-нибудь перебьюсь. Какой я теперь мужик? Так, полмужика скорее.

— Там тебе лучше будет. Там оленье стада, там рыба, а здесь все привозное. Если ты останешься здесь, то и Наташа останется. Скажу я тебе: она, может, не была бы столь откровенна в своих чувствах, не будь ты, как сам говоришь, полмужиком. У женщин ведь чувства любви и жалости часто переплетаются. Мне ее отец рассказывал, что до того несчастного случая с ним он никогда не чувствовал такого прилива нежности и участия со стороны дочери. Еще говорил, что однажды олененок сломал передние ноги и дочь не дала пристрелить его, как того требует закон тундры. Она притащила олененка в чум и выходила. Тебе в поселке с коряками будет хорошо. Окрепнешь. Поживешь до следующего лета, а там посмотришь. Тебе и в самом деле отсюда зимой нелегко выбраться. Навигация откроется только летом, а по суше у нас передвигаются только зимой. Тебе надо добраться зимой до Петропавловска, а сил у тебя пока не хватит.

— Да, доктор, похоже, пока отрезана мне дорога домой. Куда мне ехать? В моем доме живет мой враг. А в Советской Армении у меня никого нет. Все время думаю об этом. Не забывай еще, что я инвалид.

\* \* \*

От встречного ветра и сильного мороза на усах и бороде образовались сосульки. Баграт часто хлопал длинными ресницами. Они густо покрылись белым инеем. Натсайа, сидевшая спереди на месте каюра, время от времени поворачивалась назад, всматривалась в лицо своего пассажира и хохотала.

— Твои глаза закрыл наш белый холод.

— Я сейчас ничего, кроме твоего белого холода, не ощущаю.

— Белый холод — это хорошо, — сказала Натсайа и высоко подняла остол с железным острым наконечником, подгоняя собак.

Шесть пар разношерстных лаек тащили нарты по жесткому снегу. Вроде совсем недавно выпал первый снег, а уже был он жесткий. Как только открывается дорога, вереницей идут оленье и собачьи упряжки между Седанкой и Тигилем по смешанной тундре, и потому дорога всегда бывает хорошо накатана. На перевалах Натсайа ловко прыгивала с нарты и, взявшись за «стоячий

баран», помогала собакам тащить нарту. Баграт в такие моменты печально смотрел, как она то и дело падает в глубокий снег и вновь вскакивает на ноги. А Натсайа словно хотела подчеркнуть, что ей совсем не тяжело, и хохотала. Она была счастлива и, казалось, не хотела скрывать своего радостного настроения.

Недалеко от Седанки дорога проходит по краю леса, через крутую сопку, которую называют Последняя. Так сопку прозвали потому, что по пути от Тигиля до Седанки здесь преодолевают последний перевал. Тяжелый перевал. Особенно опасен здесь спуск. Некоторые каюры обычно разгружают сильно нагруженные нарты. На тормозах спускают нарты без упряжки. Если вдруг каюра не сможет остолом затормозить нарту, то она срывается и давит привязанных друг к другу собак, которые обычно на спуске и без того чувствуют себя неуверенно. Натсайа знала об этом. Но она решила, что не развяжет собак. С ними она себя чувствовала уверенней. Просунув остол через решетку нарты, она что есть силы тянула его к себе. Баграт осмотрелся вокруг и обратил внимание на то, что спуск на сей раз был очень крутым. Он только сейчас понял, как опасна профессия каюра. Ведь дорога не всегда бывает ровной. Натсайа налегла всем телом на остол, и все же нарта с каждой минутой набирала скорость. Собаки мчались суматошно, явно боясь сбить друг друга. Баграт с трудом приподнялся на качающейся нарте, повернулся всем телом, вытянул руки и схватился за остол. Наташа чуть подвинулась, чтобы было удобно обоим. Нарта сразу же замедлила ход. Было отчетливо слышно, как наконец остол режет лед. Только у самого подножия сопки оба, словно по команде, чуть отпустили остол, и тотчас же нарту рвануло вперед. Собаки еще долго бежали, легко таща за собой набравшую скорость нарту, и только когда стало видно, как натянулись ремни, Баграт и Наташа вздохнули с облегчением. Теперь можно было перевести дух и поговорить.

— Ты вовремя успел, — похвалила Наташа.

— А ты тоже хороша, не могла заранее сказать, чтобы я приготовился. Ты что думаешь, я уже ничего не могу? Руки же у меня есть.

— А я думала, что и рук нет.

— Вот это да!

— А еще я думала, что справлюсь. Решила, что, если вдруг не справлюсь, на ходу переверну нарту, мы упадем на землю, и собакам ничего не будет.

— Это когда же ты так решила?

— Не помню. Когда уже начали спускаться, тогда, наверно, и решила.

— В другой раз решай до того, как начнется спуск.

— В другой раз я вообще ничего не буду решать. И думать ни о чем не буду. В другой раз тебя не будет со мной. Тогда и думать не надо. Что будет, то будет.

— Отчаянная ты.

— Я люблю тебя, милыган лелат.

— Не надо так, Наташа.

— Посмотри! Посмотри! Вон виднеется поселок. Это наш поселок. Седанка. Там в юртах сейчас тепло.

\* \* \*

На левом берегу небольшой речушки Напана, у подножия двух сопок, раскинулось десятка три юрт. Все они были похожи друг на друга. Баграту показалось, что на ровном поле под снегом стоят одинаковые стога сена, которые только-только загорелись. Прямые ровные столбы голубого дыма от вершины каждой юрты устремлялись ввысь. И где-то наверху, над поселком, дым расплзался, смешивался и нависал над юртами. Таким Баграт увидел поселок в тот первый день, когда он прибыл в Седанку. И таким он запомнился ему.

В поселке жили около ста человек. В это число не входили те пятнадцать-двадцать пастухов-оленеводов, которые почти круглый год находились в тундре со своими стадами. Рядом с каждой юртой стояли небольшие балаганы, на втором этаже которых лежали замерзшие куски оленины и были развешаны головами книзу копченые красные рыбыны. Внизу, на первом этаже, находились дрова. Иногда казалось, что в поселке живут только дети. Одетые в разноцветные кухлянки, они с утра до вечера играли на улице, если, конечно, пространство между юртами можно назвать улицей. Но бывало, что из натопленных юрт выходили все — и стар и млад. Так, они выходили посмотреть, как Баграт учится ходить по земле. Смотрели всегда молча. Баграт передвигался с трудом; сзади, обычно готовая прийти на помощь, шла Натсайа. Но если даже он падал, то старался подыматься без ее помощи. Она знала, что он все делать будет сам, и тем не менее всякий раз выходила на прогулку вслед за ним.

С тех пор как Натсайа оставила больницу и вернулась в поселок, да еще привезла с собой странного гостя, отец довольно часто приходил из тундры домой. Он всегда приносил с собой свежую оленину и несколько зайцев. Ему с самого начала пон-



равился странный гость, и особенно нравилось то, что гость, когда они здоровались, снимал с головы малахай. Старику в первый раз даже как-то неловко стало. Такого обычая старик не знал. Не знал, но принял. И сам всякий раз, возвращаясь из тундры, подходил к лежащему на кукуле Баграту и еще на ходу снимал малахай. Старик ни разу не заговорил об отношениях Баграта с дочерью. Он знал только одно: несчастному человеку отрезали ногу и у него на этой земле нет своего дома. Значит, правильно сделала Натсайа, что приютила его. Иначе нельзя. А однажды, когда Багат сказал, что как только он будет свободно ходить на протезе, то уедет из поселка, старик ответил: «Ты можешь жить с нашим народом сколько тебе угодно». Он так и сказал — «с нашим народом». И добавил тогда: «Полог в моей юрте я тебе дарю». Так говорят только близкому человеку.

Костер в юрте Баграта горел непрерывно круглые сутки. За ночь два-три раза он просыпался, высовывался из кукуля и лежа подбрасывал в затухающий костер нарубленные ветки кедрача. Это стало привычкой, и порой ему казалось, что все происходит во сне. Нередко он ловил себя на мысли, что, подбрасывая дрова, продолжает видеть сон.

В новой жизни у него выработалось множество привычек. Привычным, например, было то, что по утрам приходила Натсайа и, бросив с порога неизменное: «Амто, Багат!» — принималась готовить завтрак. Привычным был и сам завтрак: отвар кореньев шиповника, кусок соленой рыбы. Всякий раз Натсайа придвигала к Баграту деревянный ящик, который в юрте заменял стол, и произносила:

— Будем кушать.

Так было и сегодня. Но при этом Натсайа добавила:

— Я знаю, тебе надоела юкола. А что кушал ты у себя в Армении?

— Как сказать... Боюсь, не сумею объяснить тебе.

— А ты постарайся. Скажи, что у вас бывает на завтрак, что на обед.

— У нас не говорят, например, «будем завтракать», или «обедать», или «ужинать». У нас всегда говорят «будем кушать хлеб». Если даже на столе нет хлеба, если даже на столе одно молоко, то, приглашая человека к столу, говорят: «Екек ац утенк» — давайте будем кушать хлеб.

— Я ела хлеб в Тигиле. Однажды ела. Сухой он был. Оленина вкуснее.

— Ты не ела хлеб, который пекла моя мать.

— А где она сейчас, твоя мать?  
— Ее убили.  
— Кто ее убил?  
— Турки.  
— Турки — это люди?  
— Те, которые убили мою маму, отца, деда, моих детей, жену, — те были звери.

— А почему ты их не убил первым? Отец всегда говорит, что волка надо убить прежде, чем тот успеет встретиться с оленем.

Баграт вдруг почувствовал неловкость перед этой маленькой хрупкой девушкой. Он никак не ожидал, что это простое и доброе существо упрекнет его, что он не убил врагов прежде, чем те ворвались к ним в дом. Она не может понять, почему Баграт не защитил свою мать и детей.

Он ничего не ответил, и она не настаивала. Натсайа молча убрала с деревянного ящика кружки и куски юколы. Она то и дело выходила из юрты и всякий раз возвращалась с охапкой дров. И только когда возле Баграта выросла целая гора, он нарушил тягостное молчание:

— Это для чего?

— Я уезжаю на несколько дней в табун, — сказала она, — постарайся, чтобы костер твой не потух. Юкола и оленина на обычном месте, рядом с дверцей.

— Далеко отсюда табун?

— Нет, полдня езды на собаках.

— Перевалов много?

— Много.

— Ты крепче нажимай на остол, когда крутой спуск. Хорошо?

— Хорошо, Баграт, — ответила Натсайа и улыбнулась. — Ты не волнуйся. Я скоро приеду. Если что — кричи. Я во всех юртах была и сказала людям, что ты остался один. Я пошла.

— Наташа!

— Да?

— Твой отец верно говорил о волках...

...Наташа уехала рано утром. И уже через час Баграта навестили два старика. Они притащили с собой оленью ногу, несколько рыбин и двух глухарей. Не ожидая приглашения, сели возле костра и стали закладывать под язык лемишинку — камчатский табак.

— Спасибо вам, — поблагодарил Баграт.

Старики молчали. Каждый взял по хворостинке и начал поправлять уголья в костре. Баграт смотрел на них с удивлени-

ем. На лицах обоих стариков не было живого места. Лбы, щеки, нос, подбородок — все было в наколках. Он обратил внимание на то, что рисунок у обоих был одинаковый: кружочки, линии, галочки. Гости походили друг на друга не только наколками. Обилие морщинок, маленькие плоские носы, выступающие скулы, глазки-точки делали их схожими. Они были совсем как близнецы. Он мог их различить только по кухлянкам: один был одет в пеструю шубу, другой — в серую.

Баграт не понял, почему гости молчат и почему они не ответили ему, когда он их поблагодарил. Старик, одетый в пеструю кухлянку, выплюнул лемишинку прямо в костер, широко улыбнулся Баграту и сказал:

— Однако зачем эта говорит спасибо?

— За еду, которую вы мне принесли, — пояснил Баграт и подумал, что старик, по сравнению с Наташей, плохо говорит по-русски.

— Моя зват Кавав, — сказал гость, одетый в пеструю кухлянку, тыча себя в грудь, — а эта зват Икавав. — Он показал на товарища.

— Меня зовут Баграт.

— Однако мы все знаем, что твоя Баграт. Мы должен знает, что Баграт, какой человек? Зачем Баграт пришел наш племя?

— А почему вы об этом решили спросить сейчас, когда Натсайа уехала в табун?

— Мы спрашивал Натсайа, и Натсайа сказал, что ты хороший человек.

— Это она вам так сказала?

— Да, она так сказал, однако она не сказал, какой ты человек.

— Не понимаю.

— Какой ты племя? — спросил другой старик, выплевывая в костер разжеванную лемишинку.

— Из моего племени мало кто остался в живых. А родом я из Армении.

— Такой племя не слышал, — сказал старик в пестрой кухлянке. — А зачем нога нет?

— Отрезали.

— Однако как ты будет жить одна нога? Трудно одна нога.

— Трудно, — вздохнул Баграт, — но ничего не поделаешь, другая нога не вырастет.

— В твоя племя раньше олени были? — спросил старик в серой кухлянке.

— Нет, оленей у нас не было. Только коровы, овцы, свиньи, буйволы... ну что еще? Ослы, лошади. А оленей не было.

— А что твоя может делать?

— Не знаю, что и сказать. Можно считать, что я ничего не умею делать. Хотя, наверно, я мог бы сшить торбаса. Кто-нибудь показал бы, а я бы научился. А что, дело это сидячее. Не могу же я даром есть чужой хлеб.

— А что эта — хлеб? — спросил старик в пестрой кухлянке.

Багра́т задумался. Ему никогда в голову не приходило, что можно словами объяснить, что такое хлеб, как не приходило в голову и то, что на земле есть люди, которые ни разу не пробовали хлеб.

Когда старики собрались уходить, поднялась дверца и вошли две женщины, следом за ними вполз маленький мальчик, одетый во все меховое, как и взрослые. В юрту ворвался холодный воздух. У женщин на руках были большие куски замерзшей оленины и красные рыбыны. Они поздоровались с Багра́том по-корякски и, перебивая друг друга, заговорили. Старики встали с мест и начали прощаться.

— Однако, Багра́т, если кушать надо оленина, юкола, ты кричат, и мы тебе приносит.

— Да зачем мне столько оленины и юколы? Вон сколько Натсайа оставила, да еще вы принесли. Спасибо!

— Однако зачем спасибо? Человек кушат должен, — сказал старик в пестрой кухлянке, потом повернулся в сторону все еще оживленно разговаривающих женщин, цыкнул на них, и все они вышли из юрты.

Стало тихо. «Не пойму я этот мир, — рассуждал про себя Багра́т, шевеля хворостинкой уголья в костре, — не пойму эту землю, которая все терпит и всех терпит. И людей и зверей. И добро и зло. Вот пришли ко мне эти мужчины и женщины, и кажется — в юрту ввалилось само добро. А где-то там, на другом краю света, иные живут лишь для того, чтобы убивать и разрушать. Почему мир терпит варварство? Почему земля терпит варваров? Но виноват ли мир? Виновата ли земля? Прав отец Натсайы, старик Эйхо: волка нужно убить до того, как он встретится с оленем. Но ведь волка должен был убить я... я».

\* \* \*

На Камчатке, как, впрочем, и везде, трудно определить границу между зимой и весной. Хотя если приглядеться, если очень захотеть, то, наверно, все-таки можно. Пожалуй, нача-

лом весны можно считать появление первых сосулук над висячими дверьми юрт, а концом зимы — первый пятачок оголившейся земли на тропинке, ведущей по самому оживленному месту поселка.

Впервые Багра́т осмелился выйти из поселка в свежий, но довольно теплый весенний день. Передвигался он осторожно и медленно. Шел в сторону реки. Дороги как таковой не было. После таяния снега земля стала мягкой. Идти было трудно оттого, что деревянная нога довольно глубоко вдавливалась в податливую землю и всякий раз он с трудом вытаскивал ее. Больше всего он боялся упасть. Вспоминал, как часто падал зимой у сугробов и в юрте и с каким трудом удавалось вставать на ноги.

Багра́т поднялся на высокий берег Напаны и с трудом перевел дух. Девять месяцев жил он здесь, и все это время все вокруг было белым-бело. Ему уже начинало казаться, что так будет всегда. И вдруг словно все кругом перекрасили в два цвета: зеленый и голубой. Зеленая сопка, голубая река. Зеленая даль, голубое небо. Багра́т только удивлялся тому, как быстро это произошло. Он прошелся по берегу. Остановился перед небольшим пятачком, густо усеянным молодой ярко-зеленой травой. Вспомнил, как дома с наслаждением ел киндзу, котэм, укроп и другую зелень. Не вытерпел, нагнулся, сорвал несколько травинок и попробовал на вкус. Нет, не то. Трава была невкусной.

Он шел по берегу, иногда забывая, что теперь должен всегда смотреть под ноги. Так ему сказал и доктор Лукашевский: «Смотри под ноги». Его поразило, что совсем рядом оказались места, напоминающие Армению. На той стороне реки, за леском, поднималась невысокая зеленая гора, за которой возвышалась другая. Зимой Багра́т их не видел. Он подумал, что белый цвет, возможно, ослеплял и глаза при этом переставали видеть все вокруг. Сделав очередной шаг, он неожиданно почувствовал, что нога в размокшем от сырости торбасе застряла в грязи. Но создавшееся положение его не очень волновало. Багра́т смотрел под ноги, на глину, и улыбался. Сейчас ему захотелось именно хлеба. Каждый, кто услышал о его желании, удивился бы. Это точно. Но ему и в голову не пришло бы объяснить здешним, как родилось это желание. Разве знают люди на Камчатке, что из глины делают тонир, в котором пекут хлеб...

Неожиданно Багра́т услышал свое имя. Он вздрогнул, повернул голову и увидел Натсайу.

- А, это ты! — обрадовался он.
- Ты что же это с нами делаешь, Баграат?
- С кем это?
- Со всем поселком. Тебя ищут. Люди разбрелись в разные стороны, думают, потерялся ты.
- Натсайа, посмотри, что это? — Баграат показал палкой на землю.
- Земля это. Сырая земля.
- Правильно, Натсайа. Это земля. Но ты знаешь, что это за земля?
- Натсайа пожала плечами, подошла к нему. Нагнулась и подняла комочек грязи, оставляя на земле следы от пальцев.
- Земля как земля, — сказала она.
- Мне нужно притащить домой много этой земли.
- Зачем?
- Я слишком часто стал во сне видеть хлеб.
- А разве хлеб делают из земли?
- Мы достанем муки...
- Я люблю тебя, Баграат.
- И хоть ты маленькая и глупенькая, придется тебе поехать в город за мукой. Больше некому. Ты еще привезешь буханку любого хлеба для закваски.
- Я люблю тебя.
- Ты маленькая глупая девочка. Помоги лучше мне вылезти отсюда.

\* \* \*

Никто в поселке не мог понять, для чего нужно рыть круглую глубокую яму, но по очереди работали все. Взрослым помогали дети. Земля была рыхлая, податливая. Однако во всем поселке не было ни одной лопаты, ни одного лома. Рыли деревянными лопатами, которые мастерил Баграат. Около десятка женщин сидели поодаль, вокруг большой копны, и рвали сухую траву на мелкие куски. Так просил делать Баграат. Командовала женщинами Натсайа; как и все, она не представляла себе, что затеял Баграат, но виду не показывала и только время от времени что-то горячо доказывала женщинам по-корякски. Глину месил сам Баграат.

В деревянных ведрах седанкинцы носили воду, и Баграат готовил замес, ссыпая в глину сухую траву. Когда глина оказалась более или менее равномерно замешенной, он попросил двух молодых ребят сбросить торбаса и начать топтать месиво. Ребята лихо работали ногами, толкая друг друга, и окружающим это казалось

очень смешным. Особенно смеялись дети. Когда глина показалась Баграту готовой, он начал лепить из нее маленькие плоские кирпичики, и многочисленные помощники его раскладывали их на ровной площадке, устланной оленьими шкурами шерстью книзу. Для них работа была загадочной и таинственной, потому что они не могли себе представить, зачем все это; еще более они удивились, когда Натсайа перевела им новую просьбу Баграта. Оказалось, что через неделю ему потребуется много оленьего навоза, причем высушенного. Для этого каждый должен был возле своего костра высушить его как можно больше.

\* \* \*

Нельзя сказать, чтобы весеннее солнце высушило кирпичи, но за два дня они малость затвердели и Баграт вновь начал возню вокруг своей загадочной ямы. Как и прежде, собрался весь поселок. Баграт перевязался чаутом. Люди поняли, что он должен спуститься в яму. Несколько мужчин бросились к нему, чтобы помочь. Довольно легко спустили Баграта на дно. Яма была в рост ему. Он сделал несколько тщетных попыток нагнуться. Увы, деревянная нога не позволяла этого. Он попросил, чтобы его вытащили. Уселся прямо на землю и на глазах у всех стал расстегивать многочисленные ремешки от протеза. Почти сто человек, считая маленьких детей, плотным кольцом окружили Баграта и молча следили за его действиями. Снял протез, он попросил, чтобы его опять опустили в яму.

Труднее всего было выкладывать стенку вниз. Работал он сидя. Сверху ему осторожно подавали кирпичи, которые принимал худенький мальчишка, спустившийся вместе с ним на дно ямы. Баграт клал кирпичи, тут же мокрым веником обдавал их водой и поглаживал рукой. Когда обложил стену до середины ямы, его вновь вытащили наверх, на глазах у всех он надел протез. Дальше пришлось работать стоя. Последние два ряда он клал очень старательно.

Яму закрыли досками, а сверху разложили оленьи шкуры. Все уже знали, что через пять дней вновь придется работать и что тогда Баграту нужен будет высушенный навоз. Но уже на следующее утро люди вновь обступили юрту Баграта, который, сидя на свернутом кукуле, тяжелым ножом обтесывал ствол дерева. Охотников помочь ему нашлось много.

На сей раз помощники хорошо себе представляли, что от них требуется, вернее, что замыслил их гость. Баграт отломал от ветки кедрача четыре рогатки, с силой воткнул их в землю,

сверху разложил палки, и получился своеобразный макет крыши. Помощники догадались, что такой навес нужен для того, чтобы закрыть яму от дождей и снега. И, может, потому, что люди поняли смысл работы, довольно скоро был готов добротный навес. Сверху его покрыли тремя слоями оленьих шкур. Помогли седанкинцы смастерить и два корыта.

Через четыре дня, не дожидаясь приглашения, жители поселка с утра стали собираться у юрты Баграта. Они несли с собой — кто в мешках, а кто и в подоле кухлянки — сушеный навоз. На дне ямы уже горел небольшой костер. Багат сбрасывал туда навоз понемногу, чтобы не заглушить огня. Вскоре из ямы стал подниматься желтоватый дым. К полудню расчистили яму от золы и шлака, набросали сухих веток кедрача и подожгли. Нужен был сильный жар. Все боялись, что пламя дойдет до крыши и сгорят шкуры, но туда долетали только шустрые искры, которые гасли, не успев притронуться к потолку.

Багат смотрел, как огонь оседает в яме и как алым цветом отражается гладкая стена. К нему подошел старик в пестрой кухлянке, дотронулся до плеча и тихо сказал:

— Ты шаман?

Багат посмотрел старику в лицо, улыбнулся и сказал:

— Я хлебопек. Как моя мать.

\* \* \*

Над тупой вершиной Последней сопки висела желтая луна, звезд не было видно. Было уже далеко за полночь, когда Натсайа подошла к поселку. Впереди нее тяжело шел безрогий олень, навьюченный двумя мешками. Натсайа остановилась у юрты Баграта, подтащила две аргизы и расставила их по обе стороны неподвижно стоявшего оленя, развязала веревки, и оба мешка разом повалились на аргизы. Она толкнула оленя, и тот, неожиданно почувствовав облегчение, побежал прочь. Вскоре он остановился, долго нюхая землю, по-видимому найдя ягель. Натсайа улыбнулась, радуясь тому, что олень так быстро пришел в себя.

Наташа не могла вытерпеть до утра. Она вошла в чум, осторожно, при свете догорающего костра, прошла к изголовью Баграта, хотела было на ходу бросить дров в огонь, но замерла, услышав свое имя.

— Да, это я, Багат, — сказала она, стоя на корточках и теперь уже смело бросая нарубленные ветки кедрача в костер.

— Что-нибудь случилось?



— Конечно, случилось!

— Что?

— Как что? Ты же меня в город послал. За мукой.

— И ты привезла муки?

— Конечно. Мне Ливанов помог. Я на пароходке до Усть-Тигиля ехала.

— Натсайа, дорогой ты мой человек! А где она? Где мука? Неси сюда.

— Я ее не донесу. Она в мешках на аргизах. Здесь, у юрты твоей.

— Натсайа, принеси мне хоть щепотку.

Натсайа выпорхнула из юрты и через некоторое время вернулась. Разжав кулак, высыпала муку в широкую ладонь Баграта и заметила, как у него дрожит рука. Натсайа обратила внимание, что он не поднес ладонь к лицу, а сам весь нагнулся и, казалось, уткнулся в ладонь.

— Зажги светильник, Натсайа, — сказал он как-то серьезно, — сейчас же начнем. — И вылез из кукуля.

— Сейчас, в темноте?

— Ничего. Скоро рассвет. Работы много еще. — Багра-т крошил черствую буханку в кастрюлю с водой. — Это закваска — майа, — пояснил он.

Багра-т высыпал часть муки в плоское корыто. Натсайа стояла рядом, готовая выполнить любую его просьбу. Его волнение передалось ей, и она вспомнила, как в Тигиле помогала доктору Лукашевскому оперировать больных. Она сейчас волновалась так же, как тогда в больнице.

— Поддай-ка, Наташа, мне воды, — попросил Багра-т.

Натсайа уже знала, что будет нужна вода, и ждать себя не заставила. Он осторожно вылил воду в муку и, несколько не скрывая возбуждения, как-то певуче сказал:

— Ну, а теперь, дорогой человек, неси мне майу. Без нее, без майы, хлеб не получится, а получится пресная лепешка, которую пекут на железной печке. Ты меня слышишь, дорогая моя?

— Слышу, конечно, слышу. Хочешь, повторю, что ты сказал?

Натсайа подала кастрюлю с майей Багра-ту. Ему было неудобно работать. Слишком низким был деревянный ящик-стол. Но он почти не замечал неудобств. Он только чувствовал, что душа у него поет.

— Наташа, ты самая хорошая на свете.

— Багра-т, тебе трудно, дай помогу. Я уже поняла, что нужно делать.

— Нет, Наташа, нельзя. Как-никак первый хлеб. В другой раз тебе уступлю. Жизнь у тебя длинная, долгая. Все еще успеешь.

Баграт яростно работал руками. Катал месиво по дну корыта, вонзал в него свои мощные кулаки, резал широкими ладонями, мял длинными пальцами.

— Будет здесь, в поселке, хлеб, Наташа. Ты знаешь, старик один, когда мы тут строили тонира, спросил меня: мол, не шаман ли я?

— А что ты ответил? — засмеялась Натсайа.

— Я сказал, что я хлебопек. И, по-моему, он меня не понял.

— И никто тебя во всей тундре не понял бы. Наверно, одна только я, и то всего раз, пробовала хлеб в Тигиле.

Баграт уже не слушал Натсайу. Он вспомнил, как часто мать готовила тесто и как она делала это без суеты, спокойно. Вспомнил и то, как она благословила его стать хлебопек. Не обязательно, сказала она, по стопам отца пойти. Можно выбрать и материнскую дорогу. Она говорила об этом перед смертью. И, может, оттого, что чувствовал, как в эти минуты осуществляет мечту матери, стало так легко на сердце. Всякий раз, вспоминая родных, он чувствовал невыносимую боль, а тут вдруг на душе посветлело. Для него приобрели смысл слова матери, сказанные в то страшное утро, о том, что если даже всю деревню сжигают, то все равно кто-нибудь остается. Мать говорила, что ему суждено остаться. Она оказалась пророком. Он остался на этой земле и теперь готовится, пусть даже в чужом краю, испечь хлеб. Баграту чудилось, что мать смотрит на него добрыми внимательными глазами и радуется. Мысли его прервал голос Наташи:

— Баграт! Ты меня слышишь?

— Что? Да, Наташа. Я тебя слышу.

— Посмотри наверх. Рассветает.

— Да, рассветает, — согласился Баграт и увидел через рваную дыру купола юрты кусочек светлеющего неба.

Баграт прикрыл тесто рубашкой и сверху аккуратно разложил шинель.

— Готово, — сказал он, — к полудню можем начать.

— Тебе бы поспать не мешало, — вздохнула Натсайа.

— Это тебе, Наташа, не мешало бы поспать. Ты же с дороги и всю ночь не спала. Иди-ка к себе и поспи. Обещаю, без тебя не начну.

— Мне совсем немного надо поспать. Я вон лягу на твой кукуль...

— Нет. Иди к себе. Так будет лучше.

- Почему, Баграт?
- Так будет лучше.
- Ведь я все равно тебя люблю, Баграт.
- Но будет лучше, если ты все-таки пойдешь к себе.
- Хорошо, Баграт. У нас по обычаю нельзя заходить ночью в чужую юрту. Если же кто зашел, то можно остаться. Но я пойду, если ты так хочешь. Пойду к себе в чум.

Натсайа подбросила несколько поленьев в костер и, не попрошавшись, вышла из чума. Баграт, сидя на кукуле, не торопясь пристраивал к культе протез, натянул на него штанину и, взявшись за деревянную стойку, вбитую в земляной пол поодаль от центра, поднялся с пола. Взял корыто, покрытое шинелью, и осторожно перенес его к костру.

Он вышел на улицу; шурясь от света, потянулся и подошел к тониру. Отташил шкуры в сторону, посмотрел вниз, на дно ямы, покрытое серой золой, и произнес довольно громко: «Совсем как настоящий». Он подумал о том, как бы устроиться, чтобы удобнее было лепить плоские диски теста к раскаленной стене, и вдруг ударил ладонью по лбу. С ума сошел! Чем же он будет лепить эти самые диски, ведь тепа нет? Он вспомнил, как мать ловко работала тепом. Раскатит, бывало, тесто по всей поверхности тепа, осторожно опустит его в огнедышащую яму да разом и шлепнет по стенке.

Баграт взялся срочно мастерить теп. Острым ножом сделал из куска широкой доски нечто вроде лопаты округлой формы. Когда теп уже был готов, он стал обшивать его с обеих сторон тряпками. Закончив, улыбнулся, посмотрел по сторонам. Юрта его поставлена ближе, чем все остальные, к подножию, и поэтому он мог одним взглядом охватить поселок. Вот и теперь он окинул взором все юрты, и они ему показались родными. Баграт собирался сегодня кормить их обитателей хлебом. Впервые в своей жизни они будут есть хлеб. Научатся произносить это слово. Он медленно переводил взгляд от одной юрты к другой, вспоминая, кто живет в каждой из них. Оказалось, что он уже знает всех и даже знает расцветки их кухлянок и малахаев. Вон там, в самой дальней юрте, живет Старый Охотник. Его все так и зовут. Говорят, стреляет он без промаха. Одинокий человек. Рядом с юртой Старого Охотника живут двое: старик и маленький парнишка. Старик — брат Тымыртыгина, а парнишка — сын Тымыртыгина. Мать ребенка умерла, когда малышу не было и года. Она с ума сошла. В последние дни ходила по поселку и все кричала, просила помощи у людей, чтобы те не давали врагам так жестоко изби-

вать ее мужа. Она и умерла на улице. Мальчишку еле удалось выводить. Зовут его Григорием. Весь поселок выхаживал его.

А вон юрта весельчака Ойи. Он женился летом и, соблюдая древний обычай тундры, в теплый день принес немного снега своему будущему тестю. У него самый большой бубен в Седанке. Один из бубнов он подарил Баграту. Ойа всегда в центре внимания, когда поселок празднует день удачи. Вернулся охотник с убитым медведем, значит, Ойа до вечера, до торжеств, разогревает у костра бубен. Седанка будет праздновать день удачи.

Все чумы знакомы. Люди в них родные.

\* \* \*

Взяв в ладонь шепотку муки, Баграт высыпал ее на бубен и стал ладонью растирать туго натянутую кожу так, чтобы след от муки остался по всей гладкой поверхности. Потом разложил вплотную друг к другу белые кругляшки теста, похожие на снежки. Люди окружили его тесным кольцом, и стало немножко темновато. Баграт хотел было попросить, чтобы оставили просвет для воздуха и света, но передумал. Понимал, что все равно через минуту о его просьбе забудут. Все хотят смотреть на работу нового шамана. Вроде бы они с Натасшей объяснили, что будет делать Баграт, но, видно, люди просто из приличия понимающе кивали головами. Они так и не могли представить, что же получится в конце концов. Подходили к Натсайе, вновь расспрашивали и вновь делали вид, что все им понятно, но это было не так. Да и Натсайа сама не очень-то четко представляла, как все должно происходить. И настал тот самый момент, когда наконец чужестранец стал шаманить. Как же иначе назовешь его дело, когда на дне огнедышащей ямы переливаются жаром красные уголья и снизу бьет в лицо горячий воздух. Конечно, Баграт шаман. Он говорит, что будет печь хлеб. Что это такое — хлеб? Для чего он нужен, когда есть оленье мясо, медвежий жир, красная рыба, когда есть жимолость, морошка, черемша... Люди не понимали, чего хочет этот одноногий человек. Но все же они с радостью помогали Баграту и с нескрываемым любопытством следили за каждым его движением.

А Баграт устроился поудобней возле самого края ямы. Не торопясь брал с бубна кругляшки теста, быстро и легко раскатывал на тепе. Потом деревянной вилкой делал несколько проколов и, перевернув тесто на тепе, припечатывал к раскаленной стенке, предварительно побрызгав тесто водой. Все только

успевали заметить, как теп возвращается из ямы уже без раскатытого теста.

Всякий раз вынимая пустой теп, Багра́т вытирал рукавом вспотевший лоб. И вспоминал при этом мать. Мать правильно говорила, что в холодные дни возле — тонира — лицо жжет, а спина мерзнет.

Только однажды тесто не припечаталось к стене. Оно съехало с круглой стены и шлепнулась на угли. Багра́т немного подождал, потом подцепил его железным крючком, поднял наверх, сдул золу, понюхал и произнес вслух: «Кутана». Все повторили это слово. Повернув голову, Багра́т увидел у ног взрослых седанкицев широколицего мальчика и протянул ему кутану. Мальчик взял из рук Багра́та горячую лепешку и тут же перебросил ее на другую ладонь. Багра́т улыбнулся ему и сказал:

— Кушай на здоровье, Гриша.

Гриша, откусив кусочек, подержал его немного во рту и стал жевать. Присутствующие засмеялись. И под их непрекращающийся смех Гриша с аппетитом доел кутану.

Натсайа видела, как горели глаза Багра́та, когда тот нюхал кутану. Она уловила даже то, что он вначале хотел было сам откусить от хлеба, но потом, словно вспомнив что-то, передумал и, увидев Гришу, протянул ему хлеб.

Длинным крючком, похожим на багор, Багра́т тихонько дотрагивался то до одной лепешки, то до другой. Несколько раз уже собирался было подцепить крючком и вытащить хлеб, но останавливался, точно кто-то придерживал его за руку. Он чувствовал, что надо еще чуть подождать, чтобы лепешки хорошо пропеклись, поджарились.

— Натсайа! — позвал Багра́т.

— Да, Багра́т. — Натсайа быстро подошла к нему.

— Убери бубен. От горячего хлеба испортится шкура. И попроси, чтоб принесли второе корыто. Оно в юрте.

Натсайа бросилась сама выполнять просьбу Багра́та. Она притащила корыто, положила рядом с ним. Багра́т посмотрел на Натсайу и улыбнулся. Она покраснела и, сама не зная почему, сказала: «Я принесла корыто, как ты велел».

Вдруг Багра́т словно весь напрягся. Он поднял голову, посмотрел в одну сторону, потом в другую, словно предупреждая всех, что сейчас начнется то, чего так долго ждали, и вслух произнес: «Начали». Ловким движением он подцепил крючком самый нижний хлеб, вытащил его из ямы и бросил в корыто. Один за другим он вытаскивал пышные диски хлеба, от кото-

рых шел ароматный пар. Наташа складывала горячие хлебцы один на другой, и вскоре в корыте выросли три одинаковых столба, в каждом было одиннадцать штук.

Вытащив последний диск, Баграт передал его Натсайте и вдруг вмиг как-то размяк. Он не смотрел ни на хлеб, ни на людей. Уставился в землю, в какую-то точку, и задумался. Все молчали. Натсая смотрела на Баграта с удивлением, в ее маленьких глазах затаились слезы. Она не понимала, что произошло с Багратом. Только что — она видела — совершилось чудо. Еще утром она сомневалась в том, нужен ли им всем этот самый хлеб. Веками в тундре никто не ел его, и потребности в нем никакой не было. Но сейчас, когда на ее глазах свершилось чудо, она почувствовала, что в жизни людей поселка, в ее личной жизни многое изменилось. Она очень боялась сейчас за Баграта. Однажды в больнице она видела, как он страдал от боли, и тогда у него было точно такое же выражение лица. Натсая закричала, и перепуганная толпа, тесно окружившая тонир, отступила.

Баграт поднял голову, словно крик этот пробудил его от глубокого сна. Натсая бросилась к нему, стала на колени и, схватив его за плечи, начала сильно трясти:

— Баграт! Баграт! Что с тобой?

Баграт посмотрел влажными глазами на Натсая и тихо сказал:

— Ничего. Все хорошо.

— Баграт!

— Все хорошо, — повторил он и, поглядев на корыто с хлебом, спросил: — А почему не едите хлеб?

— Баграт!

— Раздай хлеб, Наташа. Здесь тридцать четыре штуки. Один хлеб на три человека.

Хлеб разобрали быстро. Вскоре у каждого в руках было по большому ломтю. Взрослые, особенно старики, сначала осторожно откусывали по маленькому кусочку, подолгу жевали, но, распробовав на вкус хлеб, принялись смело откусывать от диска большие куски. Они ели и подтрунивали друг над другом. Было заметно, что хлеб пришелся им по душе. Баграт это видел и все же громко спросил, обращаясь сразу ко всем:

— Ну как?

Перебивая друг друга, на ломаном русском языке люди весело расхваливали хлеб. А кто-то назвал новое кушанье бескровным мясом. Наташа готовилась было отправить в рот последний кусочек, как вдруг неожиданно замерла. Она посмот-

рела на пустое корыто, перевела взгляд на толпу и печально покачала головой. Баграт не знал, что если кто-то печально качает головой, то этот человек должен пояснить людям, что случилось. Ничего никому не сказав, Натсайа подошла к Баграту и протянула ему недоеденный кусок хлеба.

— Ты даже не попробовал. Это несправедливо.

— Ничего, теперь у нас в поселке каждый день будет хлеб.

— Но такого, Баграт, уже не будет. Попробуй.

Баграт взял кусок и начал есть. Несколько человек вышли из круга и протянули Баграту свои недоеденные кусочки. Баграт отказался принять их.

Хлеб действительно вышел вкусным. Баграт вспомнил, что такой хлеб в последний раз он ел много лет назад.

\* \* \*

Вечером, собравшись вокруг языкастого костра, седанкинцы устроили праздник в честь дня большой удачи. Танцевали и пели все. Вовсю старался Ойа, то и дело меняя плоские бубны, которые разогревали его многочисленные помощники.

Для Баграта притащили большой пень с прибитой медвежьей шкурой. Он сидел, опершись на костыль. Улыбка не сходила с его лица. Больше всех веселилась Наташа. Она то стремительно входила в круг и танцевала со всеми, то подбегала к Баграту объяснить танец, рассказать, о чем поется в песне. Много Баграту было ясно и без перевода. Как не понять, когда по кругу бегают, придерживая на голове оленьи рога, девушки, а в это время пастух с чаутом в руках приглядывается к табуну, ищет жертву. Потом он ловко бросает чаут, который, несмотря на темноту, точно летит к цели. Все вмиг разбегаются в стороны, и остается только та, за чьи рога зацепился чаут. Пастух медленно подтягивает чаут к себе, жертва оказывается все ближе. Когда пастух дотрагивается до нее, вмиг спадают рога, и олень превращается в красивую девушку. Пастух обнимает девушку, а остальные вновь собираются в круг, придерживая на головах большие ветвистые рога. Баграту все было понятно. Но Наташа за время танца все-таки рассказала ему легенду о том, как когда-то красивые девушки были гордыми оленями.

Люди стали расходиться. Круг редел. И только оставшиеся, большей частью молодежь, громко пели. Наконец кто-то вылил на костер ведро воды. Это означало, что праздник окончен. Костер зашипел, подняв в темное небо густое облако белого дыма и пара. Потом все вместе принялись тушить огонь: каждый, кто

оставит костер непогашенным, непременно будет наказан богом Кутхом. И закон этот никто не нарушал. Убедиться же, что в золе не осталось тлеющих углей, надо голыми руками.

Баграта провожали домой двое молодых парней. Они молча шли сзади. Баграт старался шагать бодро. Он знал, что это Наташа просила парней сопровождать его. «Хороший она человек», — подумал он и улыбнулся, поглядывая то на черные силуэты юрт, то на звездное небо.

Всегда ему стоило больших трудов входить в юрту. Откинув кожаную дверцу, надо было низко нагнуться, чтобы пролезть в проем. Но в согнутом положении трудно было тащить за собой тяжелый протез. И поэтому он часто ползком влезал в юрту и тут же, у самого входа, отстегивал деревянную ногу. В чуме удобнее было передвигаться без протеза, на четвереньках.

В темноте он подполз к кукулю, развернул его и лег поверх, решив, что костер разжигать не надо. Ночи были хоть и прохладные, но уже можно было обходиться без костра. Он вспомнил о хлебе. Вкусный получился хлеб. Молодец Наташа, вовремя спохватилась. А то ведь он и подумать не мог о том, что кому-то не достанется хлеба. Такого у них в деревне никогда не было. Там даже если у кого кончится хлеб, то он обязательно попросит у тех, кто печет, а потом вернет, когда сам печь будет. Баграт вспомнил, как мать часто гоняла его от одного соседа к другому, чтобы долг возратить. Мало того, люди обычно с радостью давали в долг. Ведь возвращали долг через несколько дней свежими лепешками. Так что была даже поговорка: «Вкусный, как возвращенный хлеб».

Подумав о хлебе, Баграт вспомнил детство, родную деревню, но вставал перед глазами и сегодняшний день, горячий тонир, удивленные взгляды коряков, пышные лепешки, праздник у костра. Это был удивительный день. После него нельзя было сразу заснуть.

Баграт лежал неподвижно на кукуле и видел через купол юрты кусочек звездного неба. Он всегда смотрел именно на этот кусочек неба. И хорошо запомнил те несколько звезд, которые постоянно виднелись на нем.

Неожиданный шорох за юртой заставил Баграта вздрогнуть. Он приподнялся и громко спросил:

- Кто там?
- Это я, Баграт. — За тонкой стеной юрты стояла Наташа.
- Ты что не спишь?
- Не могу. Не хочется.



- Ну тогда заходи, — предложил Баграт.
  - Нельзя заходить.
  - Почему нельзя?
  - До восхода солнца нельзя девушке заходить в чужую юрту.
  - А разве за тобой следят?
  - У нас никто никогда ни за кем не следит. Зачем следить?
- Все знают, что если что-нибудь нельзя, значит, нельзя.
- А как же зимой ты каждый вечер заходила в юрту, дрова приносила?..
  - Дрова можно. Костер можно разжигать в чужой юрте.
  - Давай разожем костер.
  - Сейчас нет мороза.
  - Ну и что ж?
  - Отец говорит, что обманывать можно только зверя на охоте. Человек не должен обманывать себя.
  - А других?
  - И других обманывать нельзя.
  - Твой отец добрый человек.
  - Он говорит, что тебя нужно назначить шаманом.
  - А ты что на это ответила?
  - Я смеялась.
  - Я знал одного шамана. Он спас меня. Молчаливый такой, угрюмый. Добрый, как твой отец.
  - И доктор Лукашевский тебя спас.
  - Да, и доктор Лукашевский тоже. И ты тоже.
  - Я тебя люблю.
  - Уже поздно, Наташа, иди спать.
  - Хорошо, Баграт. Я пойду спать. Приду к тебе, как только взойдет солнце. Да, совсем забыла: ты знаешь, как старики в поселке называют хлеб? Они говорят, что сегодня ели очень вкусный баграт. Они хлеб называют твоим именем. Баграт-хлеб. Хлеб-Баграт.

\* \* \*

В чуме было прохладно. Баграту казалось, что прохлада, подобно дождю и снегу, идет через открытый купол юрты. Из-за этой дырки над головой он всегда себя чувствовал неудобно. И в то же время он так привык к ставшему родным и близким кусочку неба, что уже не мог представить свою жизнь без него.

Он залез в кукулю, подложил под голову завернутую в цветастый ситец кухлянку и, как всегда, устался в «свое» небо.

Сон не шел. Возбуждение не проходило. Несколько раз он ловил себя на том, что говорит по-армянски. Говорил он с матерью. «Ты пророк, мама. Ты сказала, что я должен печь. И вот я жив, я испек хлеб. Испек в такой дали от нашей деревни, от нашей Армении. Ты говорила, что останусь как память о вас. И вот я жив, я остался жить, но не могу прийти к вам. Человек должен жить рядом с могилами предков. Я этого сейчас не могу себе позволить. Меня приютили люди, которые ничего не знают об армянах, не знают о том, что на свете есть разные боги, есть розы и змеи. Они только сегодня узнали, что на свете есть хлеб. Они попробовали хлеб, который называют теперь именем твоего сына. У этих людей есть только один бог — СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Они узнали вкус хлеба, и теперь будет несправедливо, если я не стану больше его печь. Может, эти люди во все времена, во все века ждали именно сегодняшнего дня, ждали меня. Потому что человеку нельзя без хлеба. Они дождались. Ты всегда говорила, что хлеб — праздник. И я должен каждый день создавать праздник людям, которые еще верят в справедливость...»

Висячая дверь, сшитая из двойной оленьей шкуры, качнулась. Баграт приподнял голову и сощурился от света, ворвавшегося в темную юрту. В дверном проеме стояла Натсайа.

— Уже вошло солнце, — сказала она, опустив дверь.

Баграт улыбнулся.

— Солнце уже вошло, — повторила Наташа и села на свернутый кукуль. — День сегодня хороший будет, — добавила она.

— Это хорошо. Сегодня тоже надо печь хлеб.

— Как печь?

— Как вчера. Человек каждый день должен есть хлеб.

— Но чтобы каждый день печь хлеб, надо иметь много муки.

— Вот я и хочу с тобой поговорить, Наташа...

— Я сделаю все, как ты скажешь. Я сегодня вновь отправлюсь в город к Ливанову. Он хороший. Он даст еще муки. Хоть три мешка даст. И я привезу.

— Нет, Наташа, три мешка — это мало. Нам нужно много муки.

— Я привезу муки в поселок и снова поеду в город. Каждый день буду ездить.

— Нет, Наташа. Надо будет что-то иное придумать.

— Все, что ты придумаешь, Баграт, все я сделаю. Ты только придумай.

- Ты хорошая девушка, Наташа.
- Я люблю тебя.
- Не надо так, девочка моя. Ты же мне в дочки годишься.
- Я люблю тебя. Я хочу от тебя сына, и чтобы глаза у него были такие же, как у тебя, милыган лелат.
- Наташа, девочка! Нельзя так.
- Почему нельзя, Баграт?

\* \* \*

В последние дни Баграт много думал о Ливанове, который почему-то еще тогда на «Руби» казался ему хозяином здешних мест. Баграт хотел наладить с Борисом Александровичем контакт, чтобы создать в поселке пекарню, думал даже над тем, как будет оплачивать поставку муки. Вся надежда, конечно, на жителей поселка, вернее — на охотников. Об этом он и хотел поговорить с Наташей.

Именно потому, что в последнее время он часто думал о Ливанове, появление Бориса Александровича в Седанке просто-таки поразило Баграта. Завидя гостя, он от неожиданности даже перекрестился.

— Не знал, что ты христианин, — улыбнулся Ливанов, держа на весу дверь, чтобы пригласить в юрту и своего спутника — молодого светловолосого парня.

— Быть этого не может!

— Чего быть не может, Баграт?

— Ты ли это, товарищ Ливанов? — Баграт пристально смотрел на Ливанова, сутуловатого, поджарого человека с крупными пухлыми губами. — Ты ли это? — повторил он свой вопрос.

— Я, а что? Не похож?

— Как же ты сюда попал?

— Можно считать, на всей Чукотке и Камчатке нет ни одного поселка, где бы я не побывал. Везде есть мои фабрики.

— Удивительно, — недоумевал Баграт, — я же неделю только и делаю, что думаю о тебе.

— Мне Наташа сказала, что тебе ампутировали ногу. Главное — живой остался. Я ж говорил, что доктор Лукашевский волшебник. А Наташа твоя — боевая девочка. Спрашиваю, зачем там мешок муки нужен, а она твердит: раз Баграт просил, значит, надо. Так не дала и рта раскрыть: все Баграт да Баграт...

— Да садитесь, чего вы стоите, — опомнился Баграт, — вон возьмите кукули и садитесь. Кукулей у меня много. В первый же день соседи принесли да так и оставили.

— Выходит, ты совсем наш, — сказал Ливанов, усаживаясь на кукуль, — христианин, значит.

— А как же иначе, товарищ Ливанов! Я ведь из семьи священников. Отец мой, дед мой, отец моего деда — все были священниками. И меня готовили с детства к этому делу. Да вот теперь — ни отца, ни деда, ни церкви. Все уничтожили враги. И стал я хлебопеком.

— Мы уже слышаны о твоём хлебе. Хорошее дело ты начал...

— Да, очень хорошее, — вмешался в разговор молодой светловолосый парень с голубыми глазами, до этого молча стоявший у дверей. Парень чем-то напомнил Баграту Ивана Петрова. — Я думаю, мы бы сделали великое дело, если бы в каждом поселке сумели печь хлеб.

— Ты знаешь, Баграт, кого я привез вам? — спросил Ливанов. — Я привез в Седанку Советскую власть. Вот, знакомься, Олег Александрович Стукалов. Вместе с Чубаровым он прибыл сюда с материка, но в поход его не взяли. Много других дел было в городе.

— Это хорошо, что он служил вместе с Чубаровым. По мне, у человека и документов не надо требовать и ничего о нем узнавать не надо, если известно, что он служил с Чубаровым. Я Чубарова вовек не забуду. А где он сейчас?

— На материке. Где-то в Якутии добивает бандитов. Отчаянный малый, вот и операции ему сложные доверяют.

— Хороший человек, — поддержал Баграт.

— Привет он тебе передавал, — сказал Стукалов, — узнал от Ливанова, что ты в Седанке, и просил непременно передать привет. Запомнился ты ему.

— Спасибо. Ведь, можно сказать, он жизнь мне спас... А надолго вы к нам в поселок?

— Так я же говорю, что привез вам Советскую власть, — сказал Ливанов.

— Ничего не понимаю. А что же здесь будет делать Советская власть?

— Начинать новую жизнь, Баграт. Людям помочь нужно начинать новую жизнь, — повторил Ливанов. — Сейчас в каждый поселок, в каждый населенный пункт партия направляет своих людей, чтоб учили жить по-новому, жить лучше. А то ведь их веками грабили иностранные фирмы наподобие «Гудсон-Бей и К°», за бесценнок покупали пушнину, и, как видишь, люди до сих пор не знают, что такое хлеб.

В тот день Багра́т многое уяснил для себя. Советская власть в то тяжелое время не имела возможности обеспечивать аборигенов Камчатки и Чукотки всем необходимым, и Дальневосточное управление Наркомвнешторга вынуждено было заключить договор с английским акционерным обществом «Гудсон-Бей и К°». Компания эта на протяжении долгих десятилетий буквально грабила и обирала аборигенов Крайнего Севера. Она покупала пушнину, а взамен давала соль, ружья, порох, мануфактуру. Советская власть вынуждена была подписать временный договор. «Гудсон-Бей и К°» оставляла за собой монопольное право на торговлю и скупку пушнины. В одном только фирма чувствовала неудобство: Наркомвнешторг выделил своего официального представителя, который должен был строго контролировать исполнение всех пунктов договора. Этим представителем и назначили Бориса Александровича Ливанова.

Очень скоро, объезжая камчатские и чукотские фактории, Ливанов убедился, что фирма не выполняет своих обязательств и продолжает варварски грабить местное население, не обеспечивает его тем необходимым, что предусмотрено договором. Произвол и обман особенно проявились в отношении к аборигенам: корякам, ительменам, чукчам, алеутам, ламутам, эскимосам. Зная, что у многих охотников имеются ружья, специально продавались патроны неподходящего калибра, что вынуждало покупать к ним новые ружья по баснословным ценам.

И все же, как бы ни было тяжело, уже в 1924 году советское правительство нашло возможным отказаться от «услуг» «Гудсон-Бей и К°». Договор аннулировали. Необходимо было ликвидировать все существующие фактории на Крайнем Севере. Нужно было создать новые, советские фактории Охотско-Камчатского акционерного рыбопромышленного общества. Решить многие задачи на первых порах должен был Борис Александрович Ливанов.

Багра́т слушал своих неожиданных гостей, которые непрерывно курили, и время от времени ловил себя на том, что думает о Чубарове. В этом далеком, холодном, заброшенном крае начались большие перемены, и ему казалось, что начались они с действий того серьезного широкоплечего красного командира. Вспоминал он и Ивана Петрова, который перешел на сторону большевиков.

— Значит, Багра́т, на первых порах вся надежда на тебя, — сказал Ливанов. — Утром я уезжаю. Олег отправится к устью и там будет ждать судно с грузом. Ты должен нам помочь.

— Я вот что скажу, товарищ Ливанов. Если большевики начинают, как вы тут говорите, новую жизнь с хлеба, значит, власть их верная. Но, чтобы печь хлеб, нужна мука...

— А ты спрашиваешь, — сказал улыбаясь Стукалов, — что здесь будет делать Советская власть. Вот она для начала муку будет доставать. А потом и дома новые будут, и дети пойдут в школы. Так что насчет муки ты не беспокойся. Через неделю к устью Тигиля подойдет «Руби», ты помнишь это судно? И привезет много муки. Вот мы вам, всему поселку, и ставим первую задачу: построить за это время помещение, да чтобы оно было сухое. Нынче мука на вес золота идет. Строить придется своими силами. Помощи ни от кого не ждите. И гвоздя ни одного пока не получите.

— Дом можно и без гвоздей построить. Была бы мука. Все начинается с хлеба.

\* \* \*

У седанкинцев уже был опыт, как месить глину. На этот раз почти весь поселок, сбросив большие и маленькие торбаса, топтал ногами месиво. Баграт смастерил из досок форму с четырьмя оконцами и наполнял ее глиной. Немного погодя поднимал форму, и на земле оставались лежать четыре одинаковых кирпича. Вскоре большая ровная площадка вся была уставлена сырыми кирпичами. Баграт частенько поглядывал на небо, боясь, что начнется дождь и испортит дело. Дождь не предвиделся, но у Баграта было беспокойно на душе. Он боялся, что из затеи с кирпичами ничего не выйдет. У них в деревне кирпичи делали летом, под жарким солнцем. За два-три дня кирпичи высыхали, и можно было смело класть стену. Сейчас вроде бы тоже время летнее, однако солнце не то. Оно не так греет, и по ночам прохладно. А уж поговаривают, что через месяц выпадет снег. Вряд ли кирпичи в таких условиях высохнут. Озабоченность Баграта заметила Наташа.

— Что с тобой, Баграт? Почему грустный? — спросила она.

— Тревожат кирпичи. Боюсь, они здесь вовек не высохнут. А мука прибудет через пять дней.

— Почему не высохнут?

— Нужно, чтобы солнце было жаркое. А здесь, видишь сама, земля сырая.

— Ну и пусть сырая. Зато в юрте земля сухая. Пусть кирпичи сохнут в чуме.

— Как — в чуме? — удивился Баграт. — Ведь нужно почти семь тысяч кирпичей...

— А это много — семь тысяч? — спросила Наташа.

Баграт кивнул.

— Ничего, Баграт. Натопим все юрты и разложим в них кирпичи.

— А сами где будете спать?

— А сами не будем спать, — весело сказала Наташа, — детей разместим в одной юрте, а сами обойдемся. Будем танцевать у костра.

Идея Наташи пришлось по душе Баграту. Осуществить ее было нелегко, даже очень хлопотно, но другого выхода не было.

Костры в чумах горели беспрестанно два дня и две ночи. Баграту не терпелось. Он ходил от одной юрты к другой и всякий раз убеждался, что все идет как надо. Люди отсыпались днем прямо на шкурах под открытым небом, а ночью веселились у костра. Не топились только юрта Баграта. В ней спали дети Седанки.

Пока высыхали кирпичи, Баграт работал топором и паренским ножом: готовил балки, подпорки, мастерил оконные рамы. Мужчины ему помогали. Никто из них никогда не видел, как строят дома. Не знали, для чего нужны балки, подпорки, рамы. Но старательно выполняли все, что просил Баграт. Они верили ему. Верили, что этот человек создаст что-то очень нужное, хорошее. Порукой тому был хлеб, который они полюбили.

Баграт не успевал принимать кирпичи. Стены росли быстро. Несколько человек хотели было заменить его, но он сказал, что разрешит им в другой раз, когда начнут строить в поселке дома. Баграт на самом деле боялся: а вдруг что-то получится не так, как надо, и тогда зимой пострадает мука... Мало ли что... Сделают кривую стену. А кривая стена рано или поздно рухнет. Молодой парень, широкоплечий крепыш, взобравшись на леса, поддерживал Баграта, чтобы тот не упал.

Стены получились в два человеческих роста. Крышу Баграт сделал покатую. На плотно прижатых друг к другу балках он разложил кирпичи в два слоя и сверху покрыл оленьими шкурами, как покрывают крыши шифером.

Баграт прожил в Седанке одну зиму, но уже хорошо знал, какая здесь бывает пурга. И поэтому целые сутки ушли только на то, чтобы укрепить крышу. Дополнительный ряд балок прижимал сверху несколько слоев оленьих шкур, концы которых чаутом привязывались к кольям, косо вбитым в землю.

Много хлопот доставили строителям окна и дверь. Стекол не было. И Баграт обмотал рамы, сделанные без единого гвоздя, медвежьими кишками. Дверь пришлось сшить из оленьих

шкур. Они были всякие — одну прикрепили снаружи над проемом, другую — внутри. Багра́т считал, что до зимы еще успеет смастерить дверь. А привезут стекла, можно будет и окна переделывать.

Дом был готов. Первый дом в Седанке. Он стоял рядом с то-ниром — первой пекарней в камчатской тундре. Багра́т отошел на несколько шагов, остановился и стал разглядывать дом. Рядом с приземистыми островерхими юртами кирпичное строение выглядело довольно солидно. Жители поселка, заметив, как Багра́т молча рассматривает новый дом, тоже примолкли и усталились на него. Где-то в глубине души они чувствовали, что в их жизни происходят большие перемены, и не скрывали своей радости. Порою вечером, когда жители поселка крепко спали, Багра́т не раз выходил из юрты — его все время тянуло посмотреть на освещенный лунным светом дом, построенный его руками.

На следующий день в Седанку вошел караван ездовых оленей. Впереди шел Наташин отец, старик Эйхо. Двадцать пять оленей были навьючены мукой — по два мешка на каждого. Караван двигался медленно. Вся Седанка вышла встречать его. Багра́т стоял у кирпичного домика, готовый принять долгожданный груз. Четверо парней, в ожидании команды, не отходили от него ни на шаг. Они уже знали, куда следует раскладывать мешки.

Багра́т обратил внимание, что последний олень плелся сзади, хромая. Он единственный не был нагружен. Чуть погодя показались две фигуры, согнувшиеся под тяжестью мешков. В одном из идущих Багра́т узнал Стукалова. Он попросил ребят помочь им. Но Стукалов, глядя исподлобья на парней, медленно покачал головой. Он потом сказал Багра́ту, что боялся, как бы ребята не уронили мешок, — слишком юные.

И на самом деле, когда у двери кирпичного домика Стукалов опустил мешок на землю, никто из ребят не смог даже сдвинуть его с места.

— Здесь будет фунтов двести, — прикинул Багра́т, — как же это ты тащил, Стукалов?

— А что было делать, — сказал, тяжело дыша, Стукалов, — олень на спуске ногу подвернул.

— Ну и силен ты, брат, — улыбнулся Багра́т, — вот тебе и Советская власть.

— Давай лучше разгружаться, Багра́т. Вижу, вы за это время дворец построили. Золото ты, а не человек.

— У меня тут все продумано и распределено, — сказал Багра́т и дал команду ребятам приступить за работу.



— Я помогу...

— Не надо, Стукалов. Вон как тебя в сторону клонит, все еще небось тяжесть на плечах чувствуешь. Иди в мою юрту. У меня полно кукулей. И вообще, пока тебе не поставили юрту, поживи у меня. Сейчас, я знаю, в поселке нет ни одной шкуры. Все я перевел.

Багра́т заметил, как ловко работающие парни собрались тащить в домик мешок, который нес Стукалов. Он остановил их:

— Не надо. Этот мешок мы в юрту возьмем. Я сегодня буду печь хлеб. Из подсоленной потом муки всегда вкусный хлеб получается.

\* \* \*

Безымянная сопка солнечной стороной своей, покрытой лесом, смотрела на Седанку. Другая сторона сопки никогда не видела солнца и оттого выглядела голой, неприютной, — одним словом, кусочек тундры, поднявшийся к небу, на вершине которого круглый год лежал снег. Удивительное дело: с одной стороны зеленые деревья, яркие полевые цветы, с другой — снег и вечная сырость. Юг и север.

Багра́т приближался к вершине сопки. Он шел к ней весь день. Было трудно и непривычно подниматься в гору. Багра́т часто останавливался, чтобы перевести дыхание. Никто в поселке не знал, куда он ушел. Правда, уже привыкли к тому, что он часто ходит к реке. Но и тогда, если он чуть задерживался, Наташа всегда выходила ему навстречу или кого-нибудь посылала: мало ли что может случиться с человеком, который ходит по кочковатой земле с таким трудом...

В движении Багра́т видел жизнь. Стало даже привычкой сразу же после выпечки и раздачи хлеба отправляться к реке. Он шел мимо юрт и прислушивался: то и дело до него долетало слово «багра́т».

Всю свою жизнь, каждый день, человек ест хлеб. Казалось бы, можно привыкнуть к нему. Но нет, всякий раз, когда едим свежий и вкусный хлеб, мы непременно добавляем: «Какой хлеб сегодня вкусный!» А каково же должно быть людям, которые только-только начинали привыкать к хлебу... Багра́т понимал их.

До вершины осталось метров двадцать. Повяло прохладой. Багра́ту давно хотелось побывать на той стороне сопки, которая всегда лежит под снегом. Но сначала хотелось добраться до вершины. Он мечтал об этом. Однажды, прогуливаясь по поселку, он подумал, что ему надо во что бы то ни стало взобрать-

ся на вершину сопки. И вот теперь до нее осталось всего несколько метров. Значит, и он еще кое на что способен.

Последние метры Баграат шел тяжело. На самой вершине деревьев не было. Острый конец костыля все глубже и глубже проваливался в сырую землю. Баграат делал теперь маленькие шаги. Добравшись до вершины, он осмотрелся по сторонам. Выше него было только небо. Он ходил по небольшой ровной площадке, не чувствуя усталости, и вдруг ему захотелось громко закричать. Давно он не чувствовал в себе такой силы. Эта сила вселяла в него надежду. Человек, забравшийся на такую вершину, наверняка может отправиться в дорогу. Эта мысль, не оставившая его, теперь приобретала все большую реальную основу.

Порыв холодного ветра растрепал густые волосы Баграата и оторвал его от раздумий. Он сразу вспомнил, для чего поднимался на вершину. Снег. Нужен снег. У подножия горы, в долине реки, сейчас нет снега. Густая зеленая трава поднимается там местами выше человеческого роста. Он начал медленно спускаться по другой стороне сопки. Добрался до снежного покрова, границы которого были резко очерчены и проходили по естественному рву. Достал из заднего кармана истертых, залатанных солдатских брюк плоскую стеклянную бутылку с деревянной пробкой. Сделав несколько глотков, он вылил оставшуюся воду и засунул бутылку в снег. Немного погодя он вытащил ее и облепил кусками глины. Когда бутылки уже не было видно, а торчало одно лишь горлышко, он стал наполнять бутылку снегом, проталкивая его хворостинкой. Деревянной пробкой заткнул горлышко бутылки и облепил шар еще несколькими слоями глины. Осторожно поместил его в двойной мешок, сшитый из хорошо выделанной шкуры нерпы. Набив, насколько было возможно, мешок снегом, Баграат перекинул через плечо торбу и начал спускаться вниз.

Вернулся он в поселок поздно вечером. Седанкинцы, молодые и старые, с шумом поспешили ему навстречу. Среди них была и Наташа. Когда люди, не утихая, обступили Баграата, она подошла к нему и громко сердито сказала:

— Это несправедливо.

Люди вмиг умолкли. Они знали это слово и не могли понять, почему Наташа сказала его человеку, которого все очень любили. Значит, он совершил плохой поступок. Значит, он нарушил закон тундры. Баграат понимал, почему все так беспокоились. Понимал, почему так волновалась Наташа. В тундре только здоровый человек может, не спросясь и не предупреж-

дая, уйти из дома. Но это запрещается детям и больным. Они не имеют права без предупреждения уходить в тундру или оставлять надолго юрту. Баграт хорошо знал этот обычай.

Но он понимал и то, что имел право никому не говорить о своем замысле. Никто не должен был знать, зачем он на целый день ушел из поселка. Это ведь тоже обычай тундры. Баграт попросил позвать отца Наташи.

— Только не расходитесь, соседи, — добавил он.

— Зачем тебе отец, Баграт? — спросила Наташа, сменив гнев на милость.

— Так надо, — сказал Баграт, снимая с плеча мешок.

Вскоре кто-то громко произнес: «Идет», — и круг разомкнулся, пропуская отца Наташи. Баграт достал из мешка бесформенный шар и стал соскабливать глину. Люди вплотную обступили его, внимательно следя за каждым движением. Когда показалась плоская бутылка, толпа зашумела. Баграт разбил бутылку и кончиками пальцев собрал в ладонь снег. Маленький снежок он торжественно преподнес отцу Наташи. Старик Эйхо откусил от снежка и оставшейся частью стал тереть лицо и руки.

В ту ночь Наташа спала в юрте Баграта. В ту ночь она стала его женой.

\* \* \*

К собранию Стукалов начал готовиться задолго. Первым делом он подумал о том, чтобы оленеводы прибыли из табунов в поселок. Без них собрание не имело бы никакого смысла. Необходимо поговорить с родителями об их детях. В Тигиле открыли школу для детей оленеводов, охотников и рыбаков, живущих в самом Тигиле, в Седанке и в Усть-Тигиле. Надо было уговорить людей, чтобы они отпустили детей жить в другом поселке. Надо было уговорить тех самых людей, которые веками жили в тундре, безосибочно читали следы любого зверя не только на снегу, но и на ягеле, расстояние мерили не верстами, а ночами, год делили не на месяцы, недели, а на зиму и лето, считать умели только до двадцати, поглядывая сначала на пальцы рук, а потом на ноги, после чего приходили в изумление и произносили слово «мача», что означает — «где еще взять...».

Седанкинцы, все без исключения, разместились у подножия небольшого пологого холмика. Они сидели прямо на земле. Многие держали на руках маленьких детей, завернутых в шкуры. Над толпой возвышался только Баграт, который сидел на пне.

Стукалов начал свою речь со слова «тунгутум». Это единственное, что он знал по-корякски, — «товарищ». Все громко засмеялись. Стукалов улыбнулся и попросил, чтобы Наташа прошла вперед.

— Не все знают русский язык, — сказал он Наташе, — так что попрошу вас перевести мои слова.

И Стукалов начал рассказывать о школе, которую открыло государство для бесплатного обучения детей. Он объяснял людям, что даст школа их детям, которые вступают в новую жизнь. Седанкинцы слушали оратора внимательно, иногда потихоньку переговариваясь между собой, но никто ни разу не перебил выступающего.

— Сейчас середина августа, — сказал Стукалов, — так что через пару недель дети, которым исполнилось восемь лет, должны быть в Тигиле. В школе их будут не только учить, но и кормить, дадут спальные принадлежности; в общем, за ними будет хороший уход.

Немалых трудов стоило Наташе перевести эти слова. В корякском языке нет слов «август», «неделя». Собственно, нет даже слова «школа». Седанкинцы скорее чувствовали сердцем, чем соznавали умом, что речь идет о деле, очень полезном для их детей. Они даже не знали, что в некоторых поселках на Камчатке еще со времен Крашенинникова и Беринга были открыты школы, в которых, правда, учились дети не аборигенов, а пришельцев.

Собрание проходило живо и весело. Родители задавали Стукалову много вопросов; больше всего — о том, кто для детей будет заготавливать юколу, кто будет варить оленину, кто будет чинить торбаса. На вопросы Стукалов старался отвечать точно и понятно. Сказал, что, когда родители будут навещать своих детей, они увидят все своими глазами и тогда хорошо представят себе то, о чем он говорил. Правда, потом ему стал задавать вопросы Старый Охотник и чуть было не испортил так хорошо начатое дело.

— Что же это получается, — сказал Старый Охотник, — мы здесь, в поселке, будем каждый день кушать свежий баграт, а наши дети и внуки там, в Тигиле, будут питаться одной только юколой?

— Хлеб будут печь и в Тигиле тоже, — пояснил Стукалов, и Наташа перевела его слова, называя хлеб «багратором».

— Как так, — удивился Старый Охотник, — ведь Баграт живет с нами, в Седанке, как же он будет печь баграт в Тигиле?

— В Тигиле баграт будет печь другой Баграт, — сказал Стукалов и засмеялся. — Наташа, — продолжал Стукалов, — пере-

дай им, что во всем мире, во всех городах и селах и во все времена люди пекли и пекут хлеб и что скоро так будет по всей Камчатке...

— Нет, Олег Александрович, — сказала Наташа, — я этого им переводить не буду. Честно говоря, мне самой не верится, что во всем мире, как вы говорите, во все времена пекли и пекут хлеб. Мне кажется, только у нас в Седанке и только Баграт печет хлеб.

— Но ведь Старому Охотнику надо как-то ответить...

— Не беспокойтесь, я ему все объясню. Я ему и им всем скажу, что все будет хорошо. Я им расскажу про Лукашевского, который лечит людей и который хочет, чтобы дети ходили в школу. Они мне поверят.

И Наташа долго говорила на своем родном языке. Ее слушали молча даже дети. Она закончила свою речь словами:

— Придет время, когда ваши дети вырастут и будут лечить людей, как Лукашевский, будут печь хлеб, как Баграт, будут писать документы, как Стукалов...

— А для чего всех детей отдавать в школу? — спросил Старый Охотник. — Ведь кто-то должен и в тундре оленей пасти, кто-то должен пушнину добывать, рыбу ловить. Я вон не учился и не знаю, что такое школа, а белого зайца на белом снегу не упущу. Стреляю без промаха. И чтобы оленей пасти, и чтобы принять телят во время отела, и чтобы забивать оленей, совсем не нужно ходить в школу...

Так или примерно так перевела Старого Охотника Наташа. И как только она закончила, слово попросил молчавший до этого Баграт.

— Наташа, ты только постарайся, чтобы люди меня поняли, а то нет ничего хуже в жизни, когда тебя не понимают. Старый Охотник, конечно, по-своему прав. Вроде бы и трудно возражать: один врачом может стать, другой учителем, третий писарем, но остальным-то грамота зачем? Можно жить, как деды жили. Можно ведь... Так что получается, вроде бы Старый Охотник прав...

— Что ты говоришь, Баграт, — удивилась Наташа, — я это не буду переводить. Ты же знаешь, люди тебя шаманом считают, верят в тебя...

— А ты переводи, Наташа, переводи... Товарищ Стукалов, да скажи ты ей, чтобы она переводила мои слова. Все равно ведь некоторые здесь, я знаю, понимают русский, так что они уже уловили мою мысль...

— Так что, я повторяю, — продолжил Баграт, — вроде бы и не нужна ребятам в тундре грамота. Да только это не так. Мой отец был священником, и дед мой был тоже священником. Они были самыми грамотными людьми в нашем селе. И вот на что я всегда с самого детства обращал внимание. Бывает, приглядишься к отцу, деду и их односельчанам и все удивляешься. Глаза у них разные. Долго я не мог разгадать, чем же они отличаются: вроде бы глаза как глаза. Но потом уловил: у отца и у деда глаза живые, острые, есть в них какой-то негасимый свет, и еще — гордость особая есть. И я позже понял, что все это оттого, что и дед мой, и отец были людьми образованными, грамотными. Они читали книги, знали так много историй, что никогда ни тот, ни другой не повторялись. И еще они людей знали, друзей знали, врагов знали. Но самое главное — они многое наперед могли предсказать. Вот почему у них глаза были другие и вот почему в их глазах было больше света... Пусть ваши дети пойдут в школу. Пусть врач или учитель из инога не выйдет. Пусть многие вернуться в тундру. Но пусть в их глазах появятся свет и гордость. И жить они будут новой, интересной жизнью...

Баграт говорил медленно, чтобы Наташа успевала переводить. После Баграта никто больше не выступал. Но Стукалов понимал, что нужно будет проводить еще не раз и не два разъяснительную работу среди населения. Это еще хорошо, что в Седанке не осталось потомственного шамана, а то ведь в некоторых поселках агитаторам было совсем худо: шаманы еще сильно мутили воду.

После собрания Стукалов зашел к Баграту. Наташа возилась возле костра, над которым висела закопченная кастрюля.

— Ты просто выручил меня, Баграт, — сказал Стукалов, прикуривая сигарку от горячей веточки кедрача.

— Никто никого не выручал. Все и без меня шло нормально. Дело хорошее затеяли — так и должно быть. Доброе дело люди и без перевода понимают и принимают... Наташа, давай угощать гостя.

— Сейчас, Баграт. Мясо доваривается.

— Честно говоря, я не откажусь перекусить, — признался Стукалов, — со вчерашнего дня ничего не ел.

— Вам жениться надо, Олег Александрович, — сказала Наташа, вытаскивая из большой кастрюли куски оленьего мяса.

— Все равно, если даже женюсь, мне некогда будет обедать и ужинать дома. Вот сейчас, на ночь глядя, собираюсь в Тигиль.

— Почему сейчас? — удивилась Наташа. — Утром можно поехать.

— На чем же я поеду? Снега-то еще нет. Пешком надо идти. А к утру нужно быть там. Дел много. Не все еще готово со школой, с жильем, не хватает учителей. А времени осталось мало. Надо все успеть. Надо, чтобы родители, навещая детей, убедились, что Советская власть их не обманула. Вы даже не представляете, как мне легко и хорошо оттого, что вы здесь есть.

На невысоком столе, покрытом куском фанеры, стояли одинаковые деревянные тарелки с мясом, юколой, икрой, маринованной черемшой. По всему столу были разбросаны куски хлеба.

Все трое принялись за еду. Стукалов ел, причмокивая и охая.

— Умереть можно, — говорил он, — три дня после такой еды не захочется даже думать об иной пище.

— Кушайте, кушайте, — весело угощала Наташа.

— А ты почему заскучал, Баграт? — спросил Стукалов.

— Да как сказать... Я пока ковылял сюда, в юрту, сейчас, после собрания, все думал о своих. Времена-то какие настали: ты вон отправляешься на ночь глядя в другой поселок, чтобы поторопить там дела со школой, чтобы власть новую, Советскую, не подводить. Людей собрал, уговариваешь их отдать своих детей в школу. В бесплатную школу, где будут не только учить, но и кормить, и поить. Новая жизнь наступила. Новые времена пришли. А моего народа, считай, уже нет на этой земле. Тысячи и тысячи лет жили, ждали этой новой жизни, этих новых времен, а вот не дождались. Ты, Стукалов, сегодня выступал перед людьми, а мне все казалось, что я сижу среди своих односельчан. Я радуюсь, что ты такое дело затеял для людей, и завидую в то же время. Жалею, что мои родные не дождались этого часа. Ведь говорят, что теперь Советская власть — от края до края. Только вот на том, другом краю, — я видел своими глазами — осталась выжженная земля, покрытая человеческими трупами...

— Что-то я тебя не совсем пойму, Баграт, — сказал Стукалов. — Про резню армян мы насышаны, как знаем и о том, что наказаны многие главари турецкой банды, начавшей ее. Но кто сказал, что в том краю осталась только выжженная земля? Ты разве не знаешь, что сейчас существует новая Армения, социалистическая республика?

— Знаю, я карту видел Советской Армении. Там нет моего дома. Там много гор, но нет главной библейской горы — Арарата.

— Арарат — в гербе Армении, — сказал Стукалов.

— Да. В гербе...

— А что такое герб? — вмешалась в разговор внимательно слушающая мужчин Натсайа.

— Герб — это... Как тебе объяснить... Герб — это вроде как душа, как лицо, как глаза... — Стукалов засмеялся.

— А у тундры есть герб? — спросила Наташа, почему-то обращаясь не к Стукалову, который начал разговор о гербе, а к Баграту.

— Наверно, есть, — сказал Баграт. — Наверно, олень — это герб. А может, даже горизонт, а может, собачья упряжка. Нет, олень все же лучше.

— А почему герб тундры — олень, а Армении — гора?

— Потому что тундре нельзя без оленей.

— Это верно, — согласился с Багратом Стукалов, — всегда кому-то без чего-то нельзя. Вот детям нельзя без школы, и она сейчас не выходит у меня из головы. Так что спасибо за угощение. Мир дому вашему. А мне пора идти.

— Наташа, — сказал Баграт, — собери путнику в дорогу что-нибудь.

— Не нужно. Спасибо. Три дня поешь такой еды — век не будешь голодный.

— Ты же не три дня ел... Наташа, собери. И вообще знай: обычай есть у нас, и нужно его всегда соблюдать. Путнику в дорогу — хоть кусок хлеба. Дорога — не дом. В дороге всякое бывает. В дороге соседей нет.

— Наташа, — спросил Баграт после того, как Стукалов ушел, — я все хочу узнать у тебя: как ты перевела слово «священник», когда я сегодня говорил об отце моем и деде? Я думал, ты скажешь «шаман», прислушивался, но вроде слова этого не произносила.

— А я и не говорила «шаман». Я не знаю, кто такой священник, но чувствовала, что это не шаман. Был у нас здесь шаман — покоя не давал людям. Уж и не сосчитать, скольких людей он залечил своими травами и огненными водами. Не захотели мы с ним жить. Потребовали, чтобы ушел от нас, оставил поселок. И вот он как-то среди ночи убил из карабина жену, которая не захотела уходить вместе с ним, забрал двух своих девочек и ушел в тундру.

— А где он сейчас?

— Живет в тундре. Говорят, видели его где-то недалеко. Юрту поставил. Карабином добывает пищу для детей и никого к себе не допускает.

— А сколько же лет дочерям?

— Маленькие совсем. Сейчас, наверное, старшей будет десять, младшей — восемь. Кто-то из наших охотников хотел



было подойти к его юрте, шаман вышел навстречу с карабином и предупредил, что, если тот сделает шаг, убьет. Так что я чувствовала, что священник — это вроде бы тоже шаман, но не могла так переводить. Люди наши обозлены на нашего шамана и перестали бы верить в тебя. Правда, тебя тоже они считают шаманом, но всякий раз, говоря о тебе, добавляют «настоящий».

— А как же ты все-таки перевела «священник»?

— Я сказала, что твои родители были из рода Кутхов — это наши боги. Кутх породил жизнь на Камчатке и сейчас находится на небесах. Он все видит оттуда. И еще я сказала, что у твоих родителей были совсем другие глаза. Не такие, как у всех. Я сказала, что глаза у них были такие, как у тебя.

— Я же так не говорил.

— А я же не могла людям объяснить, какие глаза, когда сама их не видела. А твои я знаю. Я люблю твои глаза. — Наташа подошла к сидящему на кукуле Баграту и села возле него. — Я очень люблю твои глаза, — добавила она.

— Ты хороший человек.

— Ты всегда так, Баграт: «хороший человек»... «хороший человек»...

— Ты действительно, Наташа, хороший человек. Знаешь, я всякий раз, мысленно уезжая с Камчатки на родину, думаю о тебе.

— Я тебе мешаю?

— Нет. Я уже и не могу без тебя. Повез бы тебя к себе на родину, но боязно мне. Что я делать буду с одной ногой? Здесь хоть людям хлеб пеку. Да и ты языка не знаешь, и оленей там нет.

— Баграт, ты научи меня своему языку. Я хочу здесь, в юрте, когда мы вдвоем, говорить на твоём родном языке. Я хочу, чтобы ты здесь чувствовал себя как дома, как у себя в Армении. Я хочу родить тебе сына, чтобы он первые свои слова сказал на языке армянских кутхов. Я люблю тебя.

— Наташа...

\* \* \*

Говорили, что доктор Лукашевский появляется в том или ином поселке именно в тот момент, когда кто-нибудь нуждается в его помощи. Баграт испытал это на себе и потому верил, что так оно и есть. Наверное, в любом поселке, каким бы он маленьким ни был, даже в оленеводческой бригаде, кто-нибудь да нуждается в помощи медика. Так что он, Лукашевский, всегда появляется кстати.

Но на этот раз действительно везение было редким и удивительным. На собачьей упряжке привезли в Седанку раненного в плечо Стукалова как раз в то время, когда туда прибыл на своей упряжке Лукашевский. Приехал, чтобы обследовать людей, выяснить, нет ли трахомы и туберкулеза, а заодно навестить Баграта, своего бывшего пациента, и Наташу, свою бывшую санитарку.

Стукалов потерял много крови, и от этого лицо его было белым как снег. Глаза безучастно глядели вокруг. Пуля прошла насквозь, задев верхушку легкого. Оперировал Лукашевский в юрте, отведенной под сельсовет. Помогала ему Наташа.

Вокруг юрты, где шла операция, собралось много народу. У самых дверей, на своем неизменном пне, который всегда притаскивал кто-нибудь из седанкинцев, сидел Баграт. Время от времени он приподнимал дверцу и справлялся о том, как идет операция. После этого он, обернувшись к окружающим, говорил коротко: «Хорошо». Было уже известно, что случилось с русским начальником Стукаловым. И все были возмущены. Жаждали справедливого суда, но плохо себе представляли, каким он должен быть. Есть закон тундры: даже убийцу нельзя убивать, потому что тогда этому не будет конца. Тундра учит, что убивать человека вообще нельзя. Но все же, если убийство совершилось, виновный должен навсегда покинуть поселок. Любой суд должен вершить вождь с помощью шамана. Вождя в Седанке давно нет. А шаман Эмкут — сам убийца. После убийства жены он ушел из поселка и теперь вот стрелял в Стукалова. Человек хотел уговорить озверевшего отца, чтобы тот отдал своих детей в школу, и получил за это пулю в грудь.

Противоречия, которыми так изобиловали законы тундры, не давали людям покоя. С одной стороны, главный их бог — Справедливость, с другой, выходит, можно безнаказанно убивать, самодурствовать со своими маленькими детьми, которые мучаются в одиночестве, слушая только вой пурги и дыхание молчаливых оленей.

— Баграт, — сказал Старый Охотник, — ты у нас вроде как за шамана, ты настоящий шаман, и Натсайа говорила, что сам ты рожден Кутхом, скажи, что нам делать с Эмкутом?

— Ничего не делать. По крайней мере, ничего самим не предпринимать. Ты говоришь, что я сын Кутха, так вот послушай меня. Закон тундры — правильный закон. В тундре и без того очень мало людей. И если начнем друг друга убивать, то скоро никого не останется. Это будет несправедливо. Это очень несправедливо, когда умирает целый народ...

— А скажи, Баграт, справедливо, когда убивают мать двух девочек, когда убивают хорошего человека Стукалова?..

— Это очень несправедливо. Но я прошу вас пока ничего не предпринимать. Откроете перестрелку — Эмкут может и детишек убить. Судя по всему, он просто так в руки не дастся... Я сам пойду к нему.

Толпа зашумела. Те, кто знал русский, передали слова Баграта по кругу. Многим его решение показалось неправильным. Старый Охотник вновь обратился к Баграту:

— Ты слышишь, как люди шумят? Ты не должен этого делать. Эмкут давно уже потерял рассудок...

Дверца юрты приподнялась, и в черном проеме показался Лукашевский. Он вышел из юрты, выпрямился и, шурясь от света, осмотрелся вокруг. Уловив взгляд Баграта, Лукашевский положил руку ему на плечо и громко сказал:

— Я бы сейчас волка съел, Баграт. Где твой хлеб, о котором по всей Камчатке молва идет?

— Сейчас, дорогой, сейчас. — Баграт вызвал из толпы парнишку, сказал ему, где в юрте лежит хлеб, и попросил быстро сбежать за ним. — Ну, как же там Стукалов? — нетерпеливо обратился он к Лукашевскому.

— Нормально. Пришлось, правда, парочку ребер ему сломать, но все будет хорошо. Счастливчик. Пуля проскочила насквозь, но ничего страшного не натворила. Только дырка осталась.

— Хороший он человек, — сказал Баграт, кивнув в сторону юрты. — Добрый человек.

— Я его давно знаю. Отчаянный малый.

Вновь дверца приподнялась. Появилась Наташа, одетая в просторный серый халат. Он был испачкан в крови.

— Все у него хорошо, доктор Лукашевский, — сказала она.

— Вот и славно!

Прибежал мальчик, неся в руке большую лепешку. Он направился было к Баграту, но тот указал рукой на Лукашевского. Парнишка, почему-то зардевшись, передал хлеб доктору. Лукашевский жадно откусил от лепешки, чем вызвал у окружающих улыбки.

— Ну как, вкусный баграт? — спросил Старый Охотник.

Лукашевский, продолжая жевать, вопросительно посмотрел сначала на Баграта, потом на Наташу.

— Здесь все так зовут хлеб — багратом, — объяснила Наташа.

— Ты говоришь, ребра ему пришлось сломать, — перебил Баграт, — а не больно было Стукалову?

— Ему потом будет больно. А пока он спит. Эфиру надышался. Так что мне несколько ночей придется спать рядом с ним.

— Пойдемте пообедаем у нас, как полагается, — предложил Баграт, — что же всухомятку...

— А хлеб у тебя действительно вкусный... В жизни такого не ел. Никуда я не могу пока отлучиться. Пришлешь мне вечером кусок мяса и еще немного хлеба — и мне хватит, — сказал Лукашевский и, нагнувшись, вошел в юрту.

Люди стали расходиться. И чем дальше они отходили от юрты сельсовета, тем громче разговаривали. Шел к себе по притоптанному снегу и Баграт. Наташа, не сняв медицинского халата, торопливо шла впереди мужа. Неожиданно она остановилась и тихо сказала:

— Пурга будет.

— Это плохо. Хлеб кончился.

— Я тоже об этом подумала.

— Ничего, — успокоил ее Баграт, — я сейчас буду месить, а с утра, хоть мир перевернись, будем печь.

Подойдя к своей юрте, Наташа набрала охапку дров и юркнула в полуоткрытую дверь.

— Ты что-то задумал, Баграт? — спросила она, как только Баграт пробрался к своему кукулю.

— С чего ты взяла?

— Ты сказал, что завтра с утра, хоть мир перевернись, будешь печь хлеб.

— Ну и что?

— Ты об этом сказал твердо и сердито.

— Я на пургу сержусь, которую ожидаем. В поселке больной, нужен свежий хлеб, а тут пурга.

— Хлеба хватит всему поселку на полдня. А ты сказал, что с утра, хоть мир перевернись, будешь печь хлеб. Почему с утра?

— От тебя ничего не скроешь.

— Что ты задумал?

— Ничего я не задумал. Я с утра испеку хлеб, а после ты запряжешь собачью упряжку.

— Зачем?

— Надо.

— Ты хочешь к Эмкуту? Ты хочешь поговорить с этим злым шаманом, который чуть не убил Стукалова?

— Да.

— Я не пушу.

— Так нельзя говорить с мужем.

- Я люблю тебя.
- И все равно мужу нельзя мешать, когда он задумал дело. Я чувствую, что сумею договориться с шаманом. Ведь я сам шаман, ты часто так говоришь, — сказал Баграт улыбаясь.
- Ты меня извини. Я не знала, что так нельзя. Но я прошу тебя.
- И просить нельзя, если муж что-то надумал.
- Я скажу об этом доктору Лукашевскому.
- Наташа, ты будешь все делать так, как я тебе скажу. Ясно?
- Наташа бросилась к Баграту, сидящему на двух свернутых кукулях у костра, встала перед ним на колени, обняла его, прижалась головой к широкой груди. Баграт ладонью гладил ее волосы и все повторял:
- Ты только не волнуйся, ты только не волнуйся.
- Я люблю тебя, — сказала она, всхлипывая.
- Ты только не волнуйся, — повторил он.
- Ты мне никогда не говоришь «я люблю тебя».
- Как-то так получилось, девочка, что эти слова я никогда в жизни не говорил. Ты уж прости меня.
- Я прощаю тебя.
- Вот и хорошо.
- Ты только будь осторожен с Эмкутом.
- Он ведь тоже человек. Поймет, думаю.
- Ведь не понял же Стукалова.
- А может, уже понял...
- Ты только будь осторожен. — Наташа еще сильнее прижалась к груди мужа.
- Я не могу не пойти.
- Я знаю, Баграт.
- Я с каждым годом чувствую — старею, с каждым годом сознаю, что я сын своего отца, внук своего деда. Они бы никогда не оставили этих двух маленьких девочек в беде. У меня из головы не выходят дочки шамана Эмкута.
- Я люблю твоего отца и твоего деда. Я люблю твою Армению.
- Ты мой хороший человечек. — Баграт поцеловал ее в губы. — Ты вдохнула в меня жизнь.
- Я хочу, чтобы ты и сегодня учил меня армянским словам... и чтобы он тоже учился.
- Кто — он?
- У нас будет ребенок.
- Наташа, — Баграт еще крепче прижал ее к себе, — девочка моя...

Нарта, запряженная двенадцатью лайками, плыла по белой тундре, слегка подпрыгивая на кочках, которые под снегом не всегда бывают видны. Собаки только отправились в дорогу и часто останавливались, чтобы сходить по нужде. Багра́т лежал на левом боку, свесив с нарты ногу. Он решил не брать с собой протез, с которым все равно невозможно передвигаться по глубокому снегу. Укрепив два костыля на нарте, он довольно ловко орудовал тяжелым остолом с железным наконечником, правя шестью парами шустрых трудолюбивых лаек. Кроме первой поездки из Тигиля в Седанку Багра́т несколько раз вместе с Наташей, которая лихо каюрила, катался на нарте. Вот тогда-то он и понял, что если приноровиться, то можно и одному править упряжкой. Тогда, во время праздных катаний, он еще не знал, что, бывает, нарта переворачивается, случается — каюр на спуске ошибется и тяжелые деревянные сани давят собак или ломают им ноги. Не знал он и того, что на подъеме собаки не тащат даже пустые нарты. Они идут в гору, если только видят, что каюр, держась за «стоячий баран», помогает им поднимать нарты. Он всего этого не знал, хотя о чем-то и догадывался.

И все же Багра́т отправился в дорогу. Долго ему объясняли, где находится юрта шамана Эмкута, называли более десяти ориентиров. Потом приметы несколько раз повторила Наташа, хорошо знающая каждый куст, который может встретиться на пути. Теперь Багра́т знал, что за небольшой одинокой сопкой, которая должна показаться слева, дорога повернет. Знал и то, что собаки сами легко найдут дорогу, ибо шли по ней не раз.

И действительно, как только упряжка дошла до сопки, собаки повернули направо. Но, пройдя несколько метров, они неожиданно встали как вкопанные. Багра́т воткнул остол в снег впереди нарты так, чтобы нельзя было ее сдвинуть с места. Взял костыли и сделал несколько шагов к передним собакам. Собаки продолжали лаять — впереди будто бы кто-то был.

Метрах в пяти от упряжки на спине лежал человек. Не то он спал, не то глядел на небо. То, что лежащий человек мог быть мертвым, Багра́ту не пришло в голову. Скорее всего потому, что уж слишком мирно тот лежал и вокруг не было никаких следов борьбы. Багра́т подошел поближе, и первое, на что он обратил внимание, — были следы нарты, идущие к большаку по целинному снегу со стороны открытой тундры. Следы пересекали дорогу и уходили дальше. Рядом с человеком, лежащим в темной кухлянке и пестром малахае, валялся винчестер. Ма-

лахай оказался Баграту знакомым. Концом костыля он дотронулся до живота человека, и тот так неожиданно и так резко задергался и приподнял голову, что Баграт, инстинктивно подавшись назад, не смог удержать равновесия и упал на спину. Человек бросился к Баграту и, схватив за плечи, помог сесть.

— Баграт, тебе больно? — спросил человек в пестром махлае.

Баграт посмотрел на него и расхохотался.

— Ну ты и напугал меня, черт!

— А что такое черт?

— Ты и есть черт. Что ты здесь делаешь, Старый Охотник?

— Упал я с аргизы, а олени, видать, не обратили внимания и побежали дальше. Толком я и не помню, как было. Сознание потерял.

— У нас был лекарь Филипп Русин, так он всегда задавал один и тот же вопрос человеку, который потерял сознание и упал: «Тебя после не тошнило?»

— Нет, все у меня в порядке. Ты куда это, Баграт?

— Просто так, катаюсь.

— Вот и хорошо. Выручишь меня. А то бы здесь и помер, если бы не ты.

— Как же быть-то, — задумался Баграт, — тебе же домой надо, а мне еще рано. Мне очень хочется прокатиться.

— Ничего, Баграт. Мне дома делать нечего. Ты же знаешь, я живу один. Так что мне спешить не к кому.

— А аргиза твоя с оленями? Что, если волки?..

— Не волнуйся. Они уже давно прибежали домой.

— Хватятся в поселке, что тебя нет, и будут искать.

— Не будут. Знают, Старый Охотник часто отпускает упряжку, а сам остается в тундре. Так что вместе покатаемся.

— Ну что ж, раз другого выхода нет... Я бы тебя сейчас повез в поселок, а сам вернулся бы. Но это значит потерять четыре часа. Вот мои условия: каюрить буду я, дорогу указываю я, а ты слушаешься меня, как своего отца, хотя сам мне в отца годишься.

— Я и своего-то не слушался, — сказал, улыбаясь, Старый Охотник. Его глаза утонули в густой сети морщинок. — Но тебя я послушаюсь.

— Что-то ты уж больно сговорчивый нынче, — удивился Баграт, направляясь к нарте.

Пользуясь передышкой, собаки вмиг разлеглись в вырытых ими ямах. Они положили свои черные мордочки с розовыми носами на белые края ям и уже видели сны.

Старый Охотник уселся позади Баграта, пристроив винчестер на нарте рядом с костылями. Упряжка нехотя и вяло двинулась с места, но вскоре лайки, найдя свой ритм, побежали лихо.

На первом же перевале Багра́т понял, что без Старого Охотника он бы пропал. А если бы и не пропал, то повернул бы назад, так и не достигнув цели.

Баграта удивляло, с какой легкостью, даже лихостью, ни на минуту не останавливаясь, Старый Охотник бежит за собаками, весело подгоняя их. Стоило нарте чуть застрять перед кочкой или покрытым снегом кустиком, как Старый Охотник, не дожидаясь полной остановки, с силой рвался вперед, крепко держась за «стоячий баран».

— Ты почему меня не спросишь, куда это мы едем, — сказал Багра́т, когда они вышли на вершину пологой сопки.

— Зачем спрашивать? Я же обещал, что буду слушаться тебя в пути.

— А все-таки?

— Куда мы едем, Багра́т? Ты говорил, кататься хочешь, но непонятно, зачем тебе перевал нужен...

— Мне действительно перевал не нужен, тем более что ты один мучаешься. Вон вспотел как из-за меня. Но ты лучше скажи: если, например, добираться до шамана Эмкута, будет еще перевал?

— А почему ты спрашиваешь?

— Мне неловко перед тобой, Старый Охотник. Никак не ожидал, что для перевала я совсем уж не гожусь.

— Зачем тебе шаман Эмкут?

— Поговорить надо с ним.

— Это опасно, Багра́т.

— Знаю.

— Тут смелостью не возьмешь. Он же дерется не по законам тундры. Он не знает справедливости.

— Какой уж из меня смельчак! Но я не верю, что он будет стрелять, если увидит, что я одноногий.

— Ему все равно, я же тебе сказал.

— Не верю.

— Эмкут плохой человек.

— Сколько до Эмкута еще ехать?

— Скоро будет темно, сегодня не успеем.

— Придется заночевать в тундре. Ввязал я тебя в историю, Старый Охотник, неловко мне. Поспишь в моем кукуле.



— Не нужен кукуль. И тебе не нужен. Мороз небольшой, поспим в кухлянках. Я всю жизнь сплю в кухлянке — и ничего. Живой, как видишь.

...В нескольких километрах от юрты шамана Эмкута Баграат и Старый Охотник устроились на ночлег. Прежде всего они покормили собак, бросив каждой по одной увесистой малосольной юколе. Настоящую соленую юколу собаки едят неохотно.

Баграат и Старый Охотник легли прямо на снег рядом с нартой. Под голову они положили свернутый в трубку кукуль. Старый Охотник перевернул малахай задом наперед, и пушистая кайма — полоска волчьей шкуры, пришитая к ушанке, — закрыла лоб, прикрыла глаза. То же самое сделал Баграат.

— Так я ничего не вижу, — сказал Баграат.

— А зачем ночью видеть? Главное — лоб не замерзнет. В тундре надо беречь ноги и лоб.

— А что, малахай специально шьется вот так, чтобы перевернуть, когда надо?

— Да. Надо лоб беречь. Днем хорошо, когда ветер бьет в лицо, жжет лоб, а ночью, когда человек спит, надо лоб беречь. Я об этом всегда помню...

— Почему ты? Почему не все?

— Молодой я был тогда. Жена у меня была. Ребенок был. Дочка. Однажды ночью малахай упал с головы дочери, и утром она уже была мертвая. Нельзя, чтобы человек находился в кукуле, а голова была открытой. Тело горит от жары, а голова застывает. Об этом знает вся тундра. Даже лисица и та знает, она на голову кладет свой хвост. И олени знают — они в сильный мороз становятся друг к другу головами, чтобы не замерзнуть. Моя жена тоже это знала. Но в ту ночь не посмотрела за ребенком. Мать всегда ночью должна проверять ребенка. Как только в юрте гаснет костер, мать должна просыпаться и проверять, как спит ребенок. Моя жена в ту ночь не проверила, и дочь умерла.

— А что стало с женой?

— Она ушла в тундру и не вернулась. Я ее искал долго и не нашел... Я ее иногда и сейчас ищу... Однако спать надо.

Баграат приподнял край малахая и увидел над собой звездное небо. «Странно, — подумал он, — минуту назад никаких звезд и не замечал. Когда они успели появиться? Никак не могу привыкнуть к этим звездам. Они совсем не такие, как у нас. Бледные, скучные. Летом едва заметны на небе, зимой холодные, молчаливые. Неужели это те же звезды, которые я так любил наблюдать по ночам? А эти, что сейчас надо мною, — не мои.

Чужие. Старый Охотник — добрый человек, щедрый человек. Если надо, он и звездами поделится с тобой. Не знал мой дед, не знал мой отец, не знал никто из нашей деревни и теперь никогда не узнают, что на свете есть такие люди, как седанкинцы, как Старый Охотник. Я узнал, и это помогло мне выжить».

В открытой тундре под открытым небом спали мертвым сном двенадцать собак и два человека. Обычно в тундре не бывает полной тишины, подобно тому как не бывает тишины в океане. Но уж если все-таки выпадет такой день, то тундра напоминает кладбище. Тишина вызывает страх. От легкого дуновения ветра, от едва ощутимой поземки всегда веет свежестью и жизнью. А от кладбищенской тишины мороз бежит по коже, и жутко становится. Коряки всегда после тихой ночи начинают рассказывать друг другу сны. И радуются всякий раз, узнав о том, какие у всех сны схожие. В тихую ночь люди видят сны, как правило, счастливые.

Старый Охотник проснулся, когда тундра была еще окутана мраком. На востоке уже наметилась светло-розовая полоса, очерчивающая горизонт. Он по опыту знал, что спать больше не сможет. А просто так валяться на снегу — это даже смешно. Он решил, что лучше, если рассвет они встретят в пути. Нужен большой запас времени. Еще неизвестно, какую задачу задаст Эмкют. Вообще неизвестно, что готовит день.

Старый Охотник подошел к собакам, погладил двух ведущих, которые нехотя повели пушистыми хвостами в темноте, не желая поднимать морды. Они боялись, что каюр вот-вот их поднимет, а им хотелось выиграть еще миг-другой. Затем он вернулся к нарте и стал будить Баграта:

— Вставай, Баграт.

— Что так рано? — довольно бодро спросил Баграт, словно он и не спал.

— Надо ехать.

— Мне кажется, я только-только заснул.

— Ничего, встанешь — и все будет хорошо. Скоро будет светло.

— Помоги мне.

Старый Охотник помог Баграту встать.

— Тихо как, — сказал Баграт.

— Да. Такое бывает редко. Ты садись на нарты, а я немного помогу собакам. Ехать надо.

Собаки неохотно вылезали из своих теплых ям, скулили и зевали. Старый Охотник вытащил остоу, который был ввинчен в

снег впереди нарты, взялся за «стоячий баран» и, крикнув: «Тах-тах-тах!» — рванулся вперед. Бесперывно лающие собаки вмиг умолкли. В пути собака никогда не лает, для этого у нее нет сил.

— И действительно тихо, — вновь сказал Баграт.

— Тихо. И ночью было тихо.

— Ты же спал. Сразу же, как лег, уснул.

— А я сон видел плохой, потому и знаю, что было очень тихо.

— Что видел?

— Волков видел. Они тихо подкрадывались ко мне, а я все никак не мог удрать. Хочу бежать, а ноги не двигаются. Волки все ближе, а я ни с места. И тихо так...

— Я тоже видел сон. Странное дело. И такой же, как ты. Только меня змея преследовала. Она ползет ко мне тихо и медленно, я вижу, а не могу удрать... Точно помню, что на двух ногах я, но вот от змеи не могу удрать. Что было дальше — не помню. Но змею точно видел.

— А что такое змея, Баграт?

— Как что такое... Змея — это змея. Ты что, никогда не видел змею?

— Ты скажи, на что она похожа? На волка?

— Нет. Она длинная как веревка, как чаут и ползет по земле.

— Не видел. У нас такого нет.

— У вас не бывает змей?

— У нас по земле ничего не ползает. Только ходит и бегают.

\* \* \*

Юрта шамана Эмкута показалась сразу же после очередного перевала. На границе между голой тундрой и участком с густым кустарником, рядом с одинокой юртой, то там, то тут валялись ар-гизы, шкуры, дрова. Две черные собаки, завидя приближающуюся упряжку, отбежали от юрты и подняли неистовый лай. В тот же миг из юрты вышел человек с винчестером в руке. Собаки Эмкута остановились на полпути и, задржав головы, продолжали лаять.

— Стой, Старый Охотник, — сказал Баграт, трогая за плечо каюра.

Старый Охотник слез с нарты, привычно водрузил остол спереди и помог Баграту подняться.

— Что ты решил, Баграт? — спросил Старый Охотник, подавая ему костыли.

— Ты останешься здесь.

— А ты?

— Я пойду к шаману.

— Он убьет тебя.  
— Не убьет.  
— Ты не знаешь его.  
— Чувствую сердцем, что не убьет. Не может он стрелять в одноногого.

— Ему все равно. Он никогда в жизни не видел одноногих людей. У нас не бывает одноногих. У нас раненые всегда умирали в тундре.

— Вот и я думаю, как же он может убить одноногого, если такого никогда не видел... — успокоил его Баграт, готовясь сделать первый шаг по глубокому снегу.

— Не могу я тебя отпустить одного, — сказал Старый Охотник.

— Жди здесь, — попросил Баграт, обернувшись, к Старому Охотнику, — если мы пойдем вдвоем, он уж точно нас пристрелит.

Старый Охотник приподнял заскорузлые шкуры-подстилки, достал из-под них винчестер, завернутый в мешок, и, сев на нарту, стал внимательно наблюдать, как медленно передвигается на костылях Баграт.

Эмкут стоял возле самой юрты, держа у ног винчестер. Двое маленьких детей, одетых в куклянки, вышли из чума, но тут же юркнули обратно. Расстояние между Багратором и юртой медленно сокращалось. И чем меньше оно становилось, тем громче лаяли собаки. Эмкут приподнял винчестер, следя не столько за приближающимся странным человеком, сколько за сидящим верхом на нарте Старым Охотником. Его-то шаман узнал сразу. Знал он и о том, что Старый Охотник стреляет без промаха. Одновременно с ним приподнял винчестер Старый Охотник.

Баграту было все тяжелее идти по целинному снегу. Всякий раз, делая очередной шаг, приходилось высоко поднимать ногу из глубокого снега, наваливаясь всем телом на костыли. Он видел, что шаман приподнял винчестер, но сделал вид, что не замечает этого, и продолжал упорно передвигаться. Чем ближе подходил он к юрте Эмкута, тем яростнее лаяли черные собаки шамана, бросаясь из стороны в сторону.

Шаман стоял как вкопанный, не двигаясь с места. Он действительно впервые в жизни видел одноногого человека. Его удивляло одно: обычно каждый, кто хотел подступиться к нему, еще издали старался вести переговоры, а этот идет молча. Шаман заметил и то, что странный человек выбивается из сил.

Баграт качался из стороны в сторону, с силой наваливаясь то на один костыль, то на другой. Иногда он на какой-то миг останавливался, чтобы перевести дух, и, качаясь, вновь высоко-

ко поднимал ногу. Собаки уже задыхались от лая. Чувствуя, может быть, усталость пришельца, они нагтели и подбегали к нему довольно близко, шараясь назад при каждом взмахе костылей.

Старый Охотник с напряжением следил, как сокращается расстояние между Багратом и шаманом Эмкутом. Несколько раз он собирался было взять винчестер на изготовку, но боялся, что Эмкут неверно истолкует это его движение. В то же время, держа ствол на колене, Старый Охотник был готов в любое мгновение выстрелить. Он тоже видел, как тяжело идти Баграту.

Баграт чувствовал, что силы оставляют его. Слишком мучительной была дорога. Редко удавалось поставить ногу на ровную твердую площадку. Часто он глубоко проваливался в снег, и всякий раз ему казалось, что не хватит сил вытащить ногу. Метрах в двадцати от чума, когда уже отчетливо было видно загорелое лицо Эмкута, Баграт оступился и, не сумев удержаться на костылях, свалился в снег. Тотчас же зашедшиеся в лае собаки с двух сторон бросились к нему. Но добежать не успели. Раздался оглушительный выстрел, и собака, которая была возле самого Баграта, пискливо завизжала, задергалась на месте и плюхнулась замертво. Другая, завидя это, завизжала и бросилась в сторону. Все произошло так быстро, что Баграт не успел понять, кто же стрелял. Он только услышал, что вслед за первым выстрелом, раздавшимся в непосредственной близости от него, тут же последовал другой. Баграт еще не успел встать и выбраться из снега, как рядом остановилась упряжка и Старый Охотник бросился к нему.

— Ты жив? — спросил он, трогая Баграта за лицо, за плечо.

— Жив.

— Ты не ранен? — Старый Охотник помог Баграту встать.

— Нет. А где Эмкут?

— Думаю, убит. Лежит возле чума.

— Ты с ума сошел!

Эмкут лежал у двери чума лицом вниз. Приподняв заско-рузлую дверцу, из черной щели испуганно смотрели на людей, возившихся возле отца, две девочки.

— Он живой, — обрадовался Баграт, поворачивая тело шамана, — давай затащим его в чум.

Пуля пробила шаману плечо. Баграт сбросил с себя кухлянку, снял гимнастерку и разорвал рубашку. Пока он делал перевязку, Эмкут, корчась от боли, заговорил со Старым Охотником на коряжском языке.

Вглядываясь в лицо шамана, Багра́т обратил внимание на глаза его. Угадывались ум, сильная воля этого человека и откровенная злоба.

— Старый Охотник, — сказал Багра́т, помогая раненому надеть кухлянку, — ты сейчас же на упряжке повезешь его в поселок.

— А ты?

— Я останусь с детьми. Ты должен спешить. Спешить, чтобы вдруг Лукашевский не уехал. Потом пришлешь за нами пару упряжек с каюрами.

— Ты правильно решил, Багра́т, — согласился Старый Охотник и снова заговорил с шаманом.

— Старый Охотник, — сказал Багра́т, — о чем тебе говорил шаман, когда я его перевязывал?

— Он говорил: «Зачем ты в меня стрелял, я бы этого человека не убил». И еще он говорил, что глаза у тебя хорошие, поэтому он позволил себя перевязать.

— Он еще что-то говорил...

— Он еще говорил, что собаку жалко. Хорошая была собака. — Старый Охотник, пропустив вперед Эмку́та, согнувшись вышел из юрты.

Наступила тишина. Слышно было, как потрескивает костер, дым от которого столбом поднимался вверх, под открытый купол. Багра́т посмотрел на детей, которые все еще сидели в углу, прижавшись друг к другу. Он рукой поманил их к себе, но они испуганно отодвинулись к самой стене.

— Не бойтесь, подойдите ко мне, — ласково сказал Багра́т. Девочки только покачали головами.

Багра́т готовился к встрече с детьми Эмку́та. Он просил Наташу, чтобы та научила его нескольким корякским словам, которые могли бы ему пригодиться. И теперь, вспомнив Наташины уроки, сказал, с трудом произнося слова:

— Ечичь, ечичекочь? Кто из вас ечичь, а кто ечичекочь?

Девочки переглянулись. На их лицах возникли слабые улыбки. Они, по-видимому, удивились, что этот странный человек с большими, как у оленя, глазами вдруг произнес на их родном языке «ечичь» и «ечичекочь», то есть старшая сестра и младшая сестра.

Багра́т еще раз повторил свой вопрос, стараясь как можно четче произносить выученные слова, но девочки молчали. Он вспомнил еще одно слово и громко спросил:

— Кшакк?

Узенькие глаза девочек от удивления как-то расширились. Станный человек спросил, не голодны ли они. Дети одновременно придвинулись к центру юрты, где возле костра сидел Багра́т. Только тут Багра́т обратил внимание на то, что одна из девочек намного крупнее другой. Дети остановились на полпути, и старшая произнесла едва слышно:

— Ктхада.

Багра́т знал это слово. Он не мог его не знать. И ничуть не удивился, услышав от одичавшей девочки именно это слово «ктхада» — «нога».

— Конинг ктхада, — еще тише повторила старшая сестра.

— Да, конинг ктхада. Одна нога у меня, — сказал Багра́т и пожал плечами, будто признавал какую-то свою вину в этом. — Вы лучше скажите... Признайтесь честно... Голодны? Кшакк?

Дети замотали головами, и та, что была поменьше, показала на закопченную кастрюлю, стоящую возле костра. Она, по-видимому, хотела сказать, что там есть еда. Багра́т приподнял полу кухлянки и достал завернутую в ветхую тряпку лепешку.

— Это вам, — сказал он, разламывая хлеб пополам.

Дети с удивлением смотрели на странного человека и никак не могли понять, что он хочет от них.

— Ну, подойдите ближе, — позвал он девочек, — я же сам не могу подойти к вам. У меня же конинг ктхада. Это хлеб. Его кушают. — Багра́т откусил от одной из половинок и добавил, жуя: — Это я вам принес.

Старшая сестра пугливо подошла к Багра́ту, взяла у него обе половинки хлеба и одним прыжком вернулась на прежнее место. Осторожно попробовав незнакомое кушанье, девочки принялись есть.

— Кушайте, — улыбнулся Багра́т, — я боялся, что хлеб по дороге замерзнет, и грел его за пазухой.

\* \* \*

Эмкут проснулся среди ночи от сильной боли в плече. В темноте он ничего не мог разглядеть. Подташнивало, хотелось пить.

— Где я? — спросил он по-корякски.

— Да как тебе сказать, где ты? — Голос раздался совсем рядом.

— Кто ты? — спросил Эмкут теперь уже по-русски.

— Я тот самый человек, которого ты хотел убить.

— Где я? Где мы? Кто здесь еще есть?

— Мы в чуме, которую по твоей милости превратили в лазарет.

— Я пить хочу, — сказал Эмкут.

— Это мне знакомо. Я тоже хотел пить, когда приходил в себя после операции. Но тебе придется потерпеть. Тут дело, брат, такое: я кричать не могу, больно мне еще, и ты тоже не можешь. Лукашевский спит в соседней юрте...

— Лукашевский, говоришь?

— Да, Лукашевский. И меня, и тебя оперировал доктор Лукашевский.

— Слышал я много о нем. Убить хотел. Было такое.

— Не слишком ли ты легко убиваешь людей, Эмкут?

— Я не всегда убиваю. Вот не хотелось же убить одноногого. Не убил же я его.

— Почему же не хотел? В меня-то стрелял без раздумий.

— Не мог я убить человека, который едва передвигается по земле. Я верил, что он ко мне с добром идет.

— Откуда же ты знаешь, что другие к тебе со злом идут?

— Когда не знаешь, что несет человек — добро или зло, — надо думать о худшем.

— Но ведь этак можно вместе со злом истребить и все добро на свете.

— Лучше так... Лучше уничтожить заодно и все добро на свете, чем терпеть зло. Я убил одного коммерсанта за то, что он при всех сказал: «Я могу за бутылку спирта купить весь корякский народ». Так и сказал. И я его убил. Я ненавижу белых за то, что они принесли в тундру зло, а своих ненавижу за то, что не протестуют, не сопротивляются, не борются с ними... Однако я пить хочу... Очень хочу пить...

— Сейчас. Потерпи малость, я попробую встать.

Стукалов, преодолевая боль, вылез из кукуля и подполз на коленях к догорающему костру, рядом с которым висели чайники и кастрюли. Поднял было руку, чтобы снять чайник с крючка, и вдруг закричал и грохнулся рядом с костром.

— Что с тобой? — едва слышно пролепетал Эмкут.

Ответа не последовало. Несколько попыток вылезти из кукуля оказались тщетными. Эмкут мог двигать только одной рукой. Тогда он пополз на спине прямо в кукуле. Опираясь на здоровый локоть, он сгибал ноги в коленях и выпрямлял их. От сильной боли помутилось сознание. Эмкут вспомнил, как его вез Старый Охотник: он то терял сознание, то приходил в себя и всякий раз не понимал, где он находится. И сейчас мало что помнил. Только вот проснулся от боли и жажды, поговорил немного с человеком, которого накануне хотел убить, и вдруг случилось непонятное. Человек, которого он хотел убить, пополз



после операции по чуме, чтобы принести ему попить. Теперь человек этот молчит. Может, умер? Если так, значит, пуля дошла до цели, значит, шаман Эмкут и впрямь убил добро. Эмкут терял силы. Он уже с трудом разгибал ноги в коленях. Боль от плеча расходилась по всему телу. И чтоб не потерять сознание, он сильно кусал губы. Отдохнув немного, он вновь попытался поползти и вскоре почувствовал тепло, идущее от костра.

Через купол чума падал тусклый свет от звездного неба. Эмкут чуть приподнял голову и увидел рядом лежащего на спине человека.

— Ты жив? — спросил Эмкут, трогая человека за ногу.

Ответа вновь не последовало. Эмкут сильнее потряс его. Человек не шевелился. Шаман напряг слух: не слышно ли дыхания, не стонет ли? Тишина, как в морозной тундре после пурги. Эмкут чувствовал, что силы оставляют его... Он вновь едва слышно спросил:

— Ты жив? — И ему показалось, что Стукалов откликнулся. — Я вот думаю, — шепотом сказал Эмкут, — стрелял бы снова в тебя, если бы ты пришел ко мне в юрту? — И, не дождавшись ответа, Эмкут продолжал: — Думаю, не стрелял бы. Но хотелось бы знать, как это так получается: много лет назад прибыли сюда инородцы и начали убивать нас, как убивают зайцев. Я был еще молодой, когда они однажды пришли в поселок во главе с Кротом и начали стрелять в людей. Они пили японский спирт и, напившись, стреляли в женщин. Я никогда не забуду Крота. Он и его друзья часто говорили, что мы, коряки, все на одно лицо. Слепой он. И его товарищи слепые. Мы не на одно лицо. Это они, инородцы, все на одно лицо. И у тебя такое же лицо, как у них. Как же я после того, что мне приходилось видеть, мог делить вас на хороших и плохих? Для меня все вы были хуже зверей. Я не поверил, что ты приходил ко мне с добром. Поэтому стрелял. Я не убийца. Я шаман и законы тундры соблюдаю. Я однажды поехал в Петропавловск. Видел, как там белые люди убивали друг друга. Я учил там русский язык. Хотел понять белых. Могу говорить немного по-японски, по-английски. Мне нужно было знать языки. Мне без языков нельзя было достать винчестер и патроны к нему. Я вначале верил инородцам. Верил до тех пор, пока к нам не приехал Крот и его банда. Всем им нужны только золото и пушнина. За одного соболя Крот мог убить коряка и ительмена. Я плакал, когда видел, как коряк, напившись спирту, хохотал, ничего не подозревая: в то время Крот целился в лицо этого человека. Возненавидел моих соплеменни-

ков, которые не боролись с ними. Скитался с семьей по тундре. Потом попал сюда, в Седанку. И возненавидел я здесь пастуха Эйхо за то, что он считал — среди белых есть много добрых людей. Но я его не убил. Он сам очень добрый человек, и я думал, что он заблуждается. Я не убийца. Я не убил свою жену. Люди неправду говорят. Шаман не может убить мать своих детей. Я чистил винчестер и случайно выстрелил. И тебя я не хотел убивать. В тебя я выстрелил, потому что ты хотел дочерей моих забрать. А вот Лукашевского хотел убить за то, что он при всех сказал: «Не слушайтесь шаманов!» В тундре нельзя так говорить. В тундре так может говорить только плохой человек, только такой, как Крот. Я не убийца. Я коряк. Я человек. Тундра — мой дом. И все в тундре мои гости. А плохих гостей выгоняют из юрты. Я не убийца, — довольно громко произнес Эмкут, еще раз потрогав за ногу лежащего рядом человека, — я не убийца.

Неожиданно за юртой послышались шаги. Поднялась дверь, и в жилище проник свет.

Вошедший нес в руках горящий жирник. Эмкут уставился в бородатое лицо, освещаемое мерцающим языком пламени светильника. Он узнал Лукашевского. Едва шевеля губами, произнес «нет» и потерял сознание.

Лукашевский перенес раненых на свои места, набросал на тлеющие угли сухих дров и принялся осматривать пациентов. Действовал он спокойно, без паники.

На рассвете к раненым явились в гости Багра́т и Наташа. Они принесли вареного мяса, хлеба и черемши.

— Ну как дела? — с ходу спросил Багра́т.

— Ты когда это вернулся? — ответил вопросом на вопрос Лукашевский.

— Только сейчас.

— Привез девочек?

— А как же! Старый Охотник пригнал сразу три упряжки. Всю ночь ехали. Ты лучше скажи, как они?

— Сплоховал я, Багра́т, — вздохнул Лукашевский.

— Быть этого не может.

— Может. Решил я было после полуночи поспать у Старого Охотника хоть часок, да проспал вечность. Такого со мной никогда не было. Когда я вернулся, оба лежали у костра без сознания. Что стряслось, ума не приложу. Сплоховал я. Предупредил Стукалова, чтобы в случае чего позвал меня, да совсем забыл, что громко не может говорить. Больно ему напрягаться. Думаю, может, к воде тянулись? Но тогда почему же оба?

Лукашевский сделал обоим уколы, посчитал пульс у того и другого и немного успокоился.

— Вроде бы все в порядке. Пусть поспят, а ты, Баграт, пока расскажи, как там все случилось.

— Да что рассказывать... Старый Охотник поторопился. Думал, шаман в меня стрелял. А шаман убил собаку, чтобы та не набросилась на меня. Вот как было. Так что рассказывать нечего. О девочках думать надо. Одичали совсем. Шарахаются от любого шороха, от голоса человеческого.

— Где они сейчас?

— У нас, — сказала Наташа.

— Спят, — улыбнулся Баграт.

— Все будет хорошо, — раздался голос откуда-то снизу.

Это был Стукалов. Судя по всему, он проснулся давно, — может, тогда, когда Баграт и Наташа вошли в юрту. Голос у Стукалова был довольно бодрым.

— Что там случилось с вами? — спросил доктор Лукашевский, садясь на корточки рядом с ним.

— А что?

— Как что? Вы оба лежали рядом с костром. Почему?

— Трудно ответить. Не помню. У костра, говоришь?

— Да.

— Это я полз за водой для Эмкута. Он все мучился, пить просил. А дальше ничего не помню. Мы с ним беседовали, а потом он пить попросил.

— О чем же вы с ним беседовали?

— Философствовали о добре и зле.

— Ничего не понимаю. Как же вы оба очутились у костра?

— Не знаю. Вот придет в себя Эмкут, тогда и узнаем.

— Он больше не придет в себя, — тихо сказала Наташа, не снимая ладони с груди шамана.

Лукашевский вскочил, бросился к Эмкуту. Наташа уступила доктору место. Лукашевский приложил ухо к груди Эмкута. Прислушался, пощупал пульс. Приподнял поочередно веки и сказал:

— Наташа права. Он больше никогда не придет в себя.

— Это невозможно! — закричал Стукалов.

— Это так, Олег Александрович.

— Он должен был мне что-то рассказать очень важное. У меня такое впечатление, что он уже рассказывал, но я не могу припомнить — что. Его голос до сих пор стоит в моих ушах. Он много людей убивал в тундре... И меня вот хотел убить. И Баг-

рата чуть не убил, и тебя, доктор Лукашевский, хотел прикончить. Но он не убийца... Он боролся... Он человек...

— Успокойтесь, Олег Александрович, — сказал Баграт, — вы, конечно, правы в своих рассуждениях о шамане Эмкуте. Только сейчас не надо о нем. Тело его еще не остыло. Думать о другом надо.

— Извините меня. Я только хотел сказать, что он не убийца. И надо, чтобы дети его это знали. Но вот беда — ничего не могу припомнить. В одном я убежден — он не убийца.

\* \* \*

Баграт любил вслушиваться в ночную тишину. Сон у него был чуткий, прерывистый, и, раз проснувшись, он часто до утра не спал. Случалось, ему везло: просыпалась Наташа, и тогда они разговаривали, коротая остаток времени до рассвета. Вот и сейчас он проснулся, вслушиваясь в тишину седанкинской ночи. Вздохнул глубоко. И тотчас же раздался голос Наташи:

— Ты не спишь?

— Спал, — ответил Баграт, — но, как всегда, урывками.

— Все хотела узнать, что ты там такое видишь во сне... Все бурчишь и ворочаешься...

— Видел, как хлеб пеку.

Наташа потянулась к Баграту, положила голову ему на плечо и прошептала:

— Я так волнуюсь.

— Ты о чем это?

— О нашем ребенке.

— Почему же ты волнуешься?

— Боюсь, у него глаза будут не такие, как у тебя, милыган лелат.

— А ты не волнуйся, девочка моя. Не думай ни о чем. Теперь осталось ждать недолго. Может, завтра...

— А может, и сегодня.

Баграт прижал к себе Наташу и провел бородой по ее щеке. Он вдруг почувствовал, что рядом с ним лежит родное существо, которое по-настоящему дорого ему. «А может, и сегодня». Слова эти, казалось, заставили Баграта забыть обо всем на свете. Само понятие «возрождение» приобрело вдруг реальный смысл.

После трагедии 1915 года Баграт много думал о том, что где-то всегда рождаются дети и люди не сознают всего величия своего счастья. Где-то, может быть, детей и очень много, но в Армении теперь никогда уже не будет много детей. Только пе-

режив тысяча девятьсот пятнадцатый, человек начинает понимать, что родина — это дети. Баграгов дед часто повторял, что родина похожа на своих сыновей и дочерей. Ребенок похож на родителей, он повторяет их — и в том бессмертие человеческой жизни, бессмертие родины. И вот здесь, в такой дали от нее, завтра, а может, сегодня, родится маленький человечек — частица многострадальной Армении.

Стремительные, порой сумбурные мысли Баграта то переносили его на родину, которая представлялась ему сплошь усеянной кроваво-красными бесформенными камнями на выжженной земле, то возвращали его на белые бескрайние просторы, над которыми нависает прозрачное голубое небо. И моментами эти два таких далеких друг от друга, непохожих мира смешивались в его сознании, становились единым целым. И за этим единым Баграг видел Натсайу. Это она сотворила и подарила ему новый мир...

\* \* \*

Известие о рождении ребенка Баграгу принесли дети, когда он выпекал хлеб. Он только закончил тепом лепить тесто к одной стороне раскрасневшегося тонира и собирался с другой железным крючком снимать готовые лепешки, в это самое время звонкоголосая детвора по просьбе старших, по обычаю тундры, спешила сообщить новоявленному отцу о рождении ребенка. Баграг выслушал новость, весь засиял и, вновь сосредоточившись, принялся ловкими движениями вытаскивать прожаренные пышные лепешки. Каждому из ребят он протянул по целому хлебцу, и те, обжигаясь и визжа, накнулись на лепешки. Постепенно вокруг тонира стали собираться люди. Сделалось шумно. Баграг уже знал сносно корякский и с интересом слушал людей. Он обратил внимание на часто повторяемое слово «акык», которое как бы передавалось по кругу. Он насторожил уши, прислушался. И только тут понял, что уже целую вечность знает о рождении ребенка, но понятия не имеет — мальчик у него или девочка. Сын или дочь? А теперь вот это красивое слово «акык» у всех на устах, словно песня какая. Он вспомнил, что акык — это сын. Значит, Наташа родила сына. Значит, здесь, совсем рядом, в нескольких метрах от тонира, лежит его сын и, наверно, кричит во все горло. Теперь Баграгу следует печь на один хлебец больше. Появился на свет новый человек.

Баграг вытащил последний хлебец, поднял голову и обвел взглядом всех присутствующих. Все — и мужчины, и женщи-

ны — широко улыбались. Он поднялся, и тотчас два человека бросились ему помочь. Подали костыли, и толпа расступилась, открывая дорогу к юрте. Багра́т шел медленно, сопровождаемый веселой и шумной гурьбой людей. Еще больше народу находилось у юрты, обступив ее. Люди двинулись навстречу Багра́ту с громкими возгласами.

Кто-то приподнял дверцу чума и помог Багра́ту войти в жилище. Там было несколько женщин, и все громко разговаривали. Увидя Багра́та, они одна за другой потихоньку покинули юрту. Стенка полога была приподнята. Наташа лежала на развернутом новом кукуле. Рядом спал ребенок. Багра́т остановился в метре от них и тихо спросил:

— Он уже спит?

— Да, Багра́т, спит. Соня он у тебя. Не успел появиться на свет, как уже спит.

— Как ты назвала нашего сына?

— Тигра́н.

— Откуда ты знаешь это имя?

— Ты мне сам говорил.

Багра́т потянулся всем телом к ребенку, завернутому во множество материй.

— У него такие же, как у тебя, глаза, милыган лелат, — сказала Наташа.

— Он кричал?

— Как он кричал! Как он кричал, если бы ты слышал!

— Я тебе свежего хлеба принес. — Багра́т достал из-за пазухи круглую лепешку. — Ты, наверное, проголодалась. Возьми, ешь. Ты слышишь, как шумит поселок?

— У нас всегда так, — сказала Наташа, откусывая кусочек хлеба.

— Ешь. Ты ешь.

Наташа ела, одобрительно покачивая головой. Она смотрела то на маленького сына, лежащего рядом, то на мужа, сидящего у ее ног. Вид у нее был усталый. Ей хотелось спать, и казалось, она могла проспать целую вечность. Но в то же время она чувствовала, что вот так бы могла целую вечность смотреть на сына и Багра́та, переводя взгляд с одного на другого.

— Я все ждала... Мне было интересно, какое ты первое слово скажешь, когда увидишь сына, — сказала Наташа.

— Я уж и не помню, что я говорил. Я до сих пор не могу прийти в себя.

— Ты спросил: «Он уже спит?»

— Не помню. Может быть... Спасибо тебе, Наташа.

— За что спасибо?

— За Тиграна.

— Не надо ничего говорить.

— Хорошо.

Баграт направился к двери, приподнял ее и, высунув голову, позвал мальчика. Что-то сказал ему на ухо и вернулся к Наташе.

— Что-нибудь случилось? — спросила Наташа, садясь на кукуль.

— Ничего не случилось.

— Но ты кому-то что-то сказал.

— Ай-ай-ай, какая ты нехорошая, непослушная! Сколько раз я тебе говорил, что жена не должна подслушивать, — ласково сказал Баграт и добавил: — Непослушная ты жена, вот кто ты такая.

— Я люблю тебя.

В чуме стало светлее. Неожиданно до самого верха поднялась дверь. Два человека, нагнувшись, внесли в полог деревянную люльку, которую Наташа видела впервые. Вновь в чуме стало темно. Сгорая от любопытства, седанкинцы, вытянув шеи, закрыли своими головами весь просвет в дверях. К двум согнутым в дугу жердям, напоминающим «стоячий баран» собачьей нарты, были прибиты крюки, на которых висел раскачивающийся ящик, сделанный из гладких, хорошо обструганных палок. Деревянные дуги внизу крепились к двум бревнам,

— Что это, Баграт? — спросила Наташа.

Баграт ничего не ответил. Он положил на дно ящика соболиные шкуры, затем подполз к ребенку, осторожно взял его на руки и перенес на новое ложе. Положил на соболиные шкуры и тихонько качнул деревянный ящик.

— Как это называется, Баграт? — вновь спросила Наташа.

— Как тебе сказать... Я не знаю, как это по-русски называется. Никогда не приходилось слышать. А может, и слышал, да не помню. По-армянски называется «оророц».

— Оророц, — произнесла Наташа.

— Оророц! — подхватила толпа и понесла по праздничной Седанке в каждую юрту, каждый чум, каждую ярангу.

\* \* \*

Поздно вечером последним в поселке пришел навестить новорожденного Старый Охотник. Сняв с крючка жирник, он

приподнял его над ребенком; мерцающий свет залил спящее лицо Тиграна. Старик улыбнулся малышу, что-то пробормотал ему и перевесил через люльку пышную росомаховую шкуру.

— Это чтоб тебя грело, — тихо сказал он.

Багра́т и Наташа сидели друг подле друга на кукуле и молча смотрели на Старого Охотника, который за все это время не сказал им ни слова и даже не взглянул на них. Когда Старый Охотник, водрузив жирник на место, собрался было уходить, Багра́т остановил его:

— Что это с тобой, Старый Охотник? Может, хоть слово промолвишь?

Тот вновь подошел к люльке и нагнулся над ней:

— В поселке я слышал твое имя, мальчик, но слух мой не сохранил его...

— Его зовут Тигран, — сказала Наташа.

— Слушай меня, Тигран, — продолжил Старый Охотник, обращаясь к малышу, — ни с кем я не могу разговаривать. Я убил шамана Эмку́та и поэтому целый год не должен общаться с людьми. Нарушил табу, только чтобы повидаться с тобой. Ты родился после того, как я совершил преступление. С тобой, только с тобой я могу разговаривать...

— Что ты там такое говоришь, Старый Охотник, — удивился Багра́т, — кто тебя назвал убийцей?

— Он сам так считает, — сказала Натсайа.

— Тогда он и меня должен считать виновным в убийстве шамана Эмку́та.

— Тигран, мой друг, я хочу тебе сказать, что никто не виноват в смерти Эмку́та. И я не виноват. Если бы был виноват, убил бы себя. Но Эмку́т погиб от моего выстрела, и я должен нести наказание.

— Ты же в то время был убежден, что он злодей и убийца, и выстрелил только после его выстрела. Чего же теперь-то казнить себя... — сказал Багра́т.

— Друг мой, Тигран, — нагнувшись над спящим мальчиком, шептал Старый Охотник, — только тебе я могу сказать, что в жизни так не должно быть, чтобы человек находил для себя оправдание там, где легко его найти. Я был убежден, что Эмку́т злодей, но ведь одно теперь важно: Эмку́т не был злодеем. Об этом узнала вся тундра после его смерти. Вот что важно: он не был злодеем. Он был несчастным человеком, любящим свой народ. Прощай, мой друг Тигран. Я постараюсь выжить. Жил же там покойный Эмку́т, да еще детей своих кормил и одевал. А



я один. Совсем один. Мне целый год ни с кем нельзя разговаривать. Я не могу посмотреть в чьи-либо глаза. Нельзя. Я могу говорить только с тобой и смотреть только тебе в глаза. Прощай.

Старый Охотник, так и не разгибаясь, добрался до выхода, приподнял дверцу и вышел на улицу.

Долго молчали Баграт и Натсайа, не отрывая взгляда от светящихся щелей между дверцей и стенами юрты. В наступившей тишине стало слышно, как посапывает маленький Тигран. И, услышав это, оба одновременно подняли голову и уставились на люльку.

— Надо, наверное, покачать? — нарушила молчание Натсайа.

— Зачем же, глупышка? Качать надо, чтобы уснул. А сейчас не надо.

— А где ты хранил ее?

— В чуме Старого Охотника.

— Значит, Старый Охотник знал о ней?

— Можно считать, он и сотворил ее. Я только говорил, что надо делать.

— Тяжело ему будет там одному.

— Я теперь не буду знать покоя, — сказал Баграт.

— Почему?

— Все из-за меня случилось.

— Ты же хотел дегитшек спасти. Ты не ради себя явился к Эмкуту. Ты пришел к нему, зная, что он выстрелил в Стукалова. Зачем же мучиться? Никто из вас не был несправедлив. Ты не мучь себя, Баграт. Старый Охотник — крепкий человек. С ним ничего не случится.

— Так долго не видеть людей и ни с кем не разговаривать... Это пытка.

— Он вынесет, и тогда все будет хорошо.

— Это ты прислала его тогда за мной?

— О чем ты спрашиваешь, Баграт?

— Сама знаешь. Скажи, как это вдруг Старый Охотник оказался на моем пути?

Наташа невольно улыбнулась.

Чум наполнился детским криком. Мать вскочила, вытащила ребенка из люльки и, раскачивая на руках, затащила бесхитрый мотив.

Плач ребенка напомнил Баграту его деревню, которая своими красными крышами, казалось, подпирала небо. Она всегда виделась ему где-то там, высоко под небесами. Всякий раз он вспоминал, что в каждом дворе были дети. Много маленьких

детей, веселых и шумных. И с тех пор в госпиталях ли, на фронте, на марше ли в банде атамана Бочкарева — всегда и везде воспоминание о родной деревне сводилось к тому, что Баграт мысленно шел по всем дворам и домам и всюду встречался с детьми. Они были похожи на своих родителей, и поэтому он их никогда не путал. Всех вырезали враги: и родителей, и похожих на них детей. Варвары всегда убивали детей. Они хорошо знали: только так можно оградить себя от возмездия, только так можно навеки прописать себя на чужой земле, в чужом городе, чужом селе, чужом доме. Главное, чтобы не было детей, порожденных христианами. Все остальное забудется и простится. Толпу всегда можно одурачить. И она поверит. Поверит, что, к примеру, не турки вырезали армян, а, наоборот, армяне — турок. Но народ не обманешь. Народ, как история, вечен.

Мать Баграта оказалась пророком. Она предсказала Баграту сегодняшний день. Говорила, что «из пепла возродится армянский народ, так не раз бывало. Все равно родина останется». И вот сегодня родился Тигран. На краю земли, там, где рождается солнце, появился сын Баграта. Там, где начинается Россия, где начинается ее утро, родился Тигран Багратович. На всей земле только в России людей величают так почтительно — по имени и отчеству. Тигран Багратович... Много царей имела Армения, и среди них были и Тигран, и Баграт. Кем он станет? Сейчас пока одно можно точно сказать — родился горластый мальчик. Спал себе, спал спокойно, проснулся и вдруг стал громко орать.

Сидя на коленях возле Баграта, который чинил порвавшиеся края тепа, Наташа кормила сына грудью и с интересом поглядывала при мерцающем свете жирника то на одного, то на другого: все хотела найти сходство между отцом и сыном. Но ничего не получилось. Маленький Тигран ел с закрытыми глазами. Поев, улыбнулся, и она улыбнулась.

— Темно сейчас, Баграт, починишь завтра.

— Завтра будут другие дела.

Ребенок сладко спал на руках матери. Натсайа не торопилась положить его в люльку. Ей хотелось как можно дольше не расставаться с ним. Прижав к себе ребенка, она смотрела на сосредоточенно работающего Баграта и вдруг почувствовала, что этот седеющий мужчина с крупным носом и густой окладистой бородой до боли ей близок. Об этом так же осознанно, как сейчас, она думала и днем, когда из тундры явился ее отец навестить своего внука. Они, ее отец и Баграт, сидели рядом, и она почему-то подумала о том, кто из них ей дороже. Понимала, что

мысль нелепая, даже какая-то оскорбительная, но ничего с собой не могла поделать. Мысль не оставляла ее, как она ни старалась отогнать ее. И она успокаивала себя тем, что их нельзя сравнивать. Отец — всегда отец. А БаграТ... БаграТ есть ее частица. Она и БаграТ — единое целое. Он иногда после долгой ходьбы, сидя в чуме, растирал отеКшую и онемевшую культю, и она по-настоящему в такие минуты чувствовала боль у себя в ноге. А когда самой приходилось, вконец уставшей, подолгу ходить по кочковатой тундре, то сердце обливалось кровью, едва только вспоминала его. «Как же должно быть ему тяжело при ходьбе!»

— А что у тебя за дела будут завтра, БаграТ? — спросила Наташа тихо, чтобы не разбудить ребенка.

— И завтра, и послезавтра. Теперь каждый день...

— Ты что задумал?

— Я пока мысленно начертил новую аргизу: побольше и подлиннее обычной. С отцом уже договорился: он воспитает шесть или восемь ездовых оленей, и тогда можно будет всех их запрячь в одну упряжку.

— А зачем тебе такая упряжка? На ней, насколько я знаю, далеко не уедешь.

— Мне далеко и не надо. Мне надо, пока лед не тронулся, с той стороны реки привезти тяжелые бревна. Много бревен. Будем ставить избы. Видела, какие избы в Тигиле?

— Видела.

— Вот такие и будем ставить. Нельзя новую жизнь начинать в старом чуме. Да, честно говоря, это вовсе и не я задумал. Это все Стукалов. Он говорил, что Советская власть решила строить новые поселки, а чумы и юрты останутся только у пастухов в тундре. Я вот и думаю, чего ждать, пока Советская власть начнет строить у нас дома. Надо самим начинать, а там, глядишь, дело веселее пойдет. Наверно, это и есть Советская власть — доброе дело самим начинать и чтобы никто не мешал строить и творить.

— Жаль, нет Старого Охотника. Он бы помог тебе.

— Трудновато, конечно, будет без него. Но я не один. Мне все помогут. Нам бы только завезти бревна, тут большого умения не надо. А там Стукалов мастеров пришлет. Начнут они строить, и мы подучимся. Да и материал нужен будет для крыши, стекла для окон.

...К весне то там, то тут в Седанке были аккуратно сложены длинные ровные бревна с торчащими острыми концами отрубленных веток. Но работа в лесу еще продолжалась. Уж больно наст был хорош: от первых весенних лучей днем подтаивал снег, а

за ночь покрывался ледяной коркой, и олени легко тащили тяжело груженную аргизу, особенно в утренние часы. Вечерами же несколько рейсов делать успевали на собачьих упряжках. Сигналом к прекращению работы служил ночной выстрел, сопровождавшийся все чаще гулом, который шел со стороны реки. Наступало время начала ледохода. Появлялись первые трещины на льду.

\* \* \*

В морозное утро, предвещавшее ясный весенний день, из Седанки вышла упряжка, запряженная шестью безрогими оленями. Люди, вышедшие провожать, молча смотрели вслед удаляющейся упряжке. Никто не знал, куда собралась семья хлебопека в такую рань, да еще с грудным ребенком на руках. Но спрашивать друг у друга не стали. Седанкинцев удивило только то, что упряжка направлялась в открытую тундру, не в ту сторону, где находятся их табуны с пастухами. И еще по аргизе было видно, что прогулка задумывалась не на час и не на два. Но все же причин для беспокойства не было. Баграт — человек разумный, настоящий шаман, а Натсайа может каюрить не хуже любого мужчины. Одно было непонятно: куда это они везли ребенка?

...Вроде бы и следы другие, и ориентиров никаких нет — кругом ровное белое поле, вдали — одна гладь, вблизи — кочки да кочки, а все же дорога казалась Баграту знакомой. Он уже знал, что за тем небольшим пологим перевалом покажется чум. Он будет стоять на границе между голой тундрой и густым серым кустарником, выделяющимся на белом фоне. Баграта удивило, что они так быстро дошли. В прошлый раз со Старым Охотником они добирались до этих мест с ночевкой, а сейчас дошли за один световой день. Чум уже виден, а день еще не кончен. Наст хороший, олени резвые — вот и шли быстрее.

— Он что, без собак живет? — спросила Наташа, поворачиваясь к Баграту, который, сидя на аргизе, держал на колене за вернутого в меха маленького Тиграна.

— Наверно.

— Если даже он нас заметил, не выйдет встречать.

— Не выйдет.

Упряжка остановилась недалеко от чума. Настроение у Баграта и у Наташи было приподнятое. Неважно — дома сейчас или нет новый хозяин юрты. Главное, что она дымит. Значит, в ней тепло, есть горячая вода.

— Ума не приложу, как быть с оленями, — сказала Наташа, разгружаясь, — не мешало бы выпустить, чтобы попаслись.

— Мне кажется, надо их покормить нерпичьим жиром, как это делали в пути. Ничего с ними за ночь не случится. Жиру хватит, наедятся. А так разбредутся. Местность незнакомая для них.

— Твоя правда... А Старого Охотника и впрямь, кажется, нет. Охотится, наверное.

— Наверное. Ты сначала занеси Тиграна в юрту, потом будем затаскивать вещи.

Натсайа взяла из рук Баграта ребенка, прижала к себе и, внимательно поглядывая под ноги, направилась к юрте. Баграт, сидя на аргизе, медленно развязывал концы чауга, которым с обеих сторон были прикреплены костыли. Хотя и сказал Натсайе «наверно», но сам не сомневался, что Старый Охотник находится в юрте. Зачем одинокому человеку выходить из дома на ночь глядя? Да и дым, поднимающийся из юрты, — синеватый, свежий. Если приглядеться, то в нем можно обнаружить следы стремительных искр. Значит, хозяин недавно подкладывал дрова. Баграта несколько не удивило, что Старый Охотник не вышел встречать упряжку. Если бы он мог встречать гостей, приглашать в юрту, если бы он мог все это себе позволить, то не жил бы здесь в одиночестве.

Натсайа, высунувшись из юрты, взглянула на Баграта с лукавой улыбкой и показала кивком головы в сторону жилья. Баграт ответил ей такой же улыбкой, тем самым давая знать, что он ее понял.

— Ты знал, что Старый Охотник здесь? — спросила Наташа, подойдя к упряжке.

— Догадывался.

— Он сидит у костра...

— Я знаю. Сидит у костра с палкой в руках и перемешивает угли в огне.

— Да. А ты откуда знаешь?

— Муж всегда все знает, — Баграт улыбнулся.

Из чума донесся бубнящий голос. Баграт и Наташа навестили уши. Прислушались.

— Давай, Натсайа, отгони малость упряжку.

— Куда?

— Куда хочешь. Подождем где-нибудь хоть полчаса. Пусть мужчины поговорят друг с другом. Соскучились небось.

— Старый Охотник может и при нас говорить с Тиграном. Как тогда, в день рождения.

— Отгони упряжку и не спорь со мной. Человек полгода собственного голоса не слышал. Ему будет неловко при нас.

Натсайа подняла остол, сдвинула нарту и плюхнулась на нее. Олени взяли с места в карьер.

\* \* \*

Во всем поселке только Багра́т знал слово «война» и знал, что это такое — война. Правда, старики не раз слышали от своих родителей о восстании камчадалов против миссионеров: некоторые из них были свидетелями боев с различными бандитами. Но какие это были бои? Перестрелки. Остатки белых бежали от тигильских партизан, а седанкинские пастухи и охотники слышали в тундре перестрелку. И вдруг Стукалов собирает всех жителей поселка и сообщает им, что началась война. Трудно было представить, о чем говорил Стукалов. Только-только растаял снег. Кругом свежая пахучая зелень. Вышедшая из берегов Напана с шумом бежит мимо Седанки к Охотскому морю. Солнце стоит высоко над головой. Тишина. Даже ветерочка нет. И вдруг где-то идет война. Тысячи и тысячи людей погибают.

Никто в Седанке не знал слово «война» и не знал, что это такое. Правда, бригада из «Красной яранги» не раз и не два, приезжая в Седанку, показывала фильмы о войне. Но все это воспринималось как сказка. Но они понимали, что случилась страшная беда. И что беда эта касается всех, в том числе и седанкинцев. Они на своем веку из огнестрельных оружия видели только охотничьи ружья и винчестеры, но по учебникам детей знали о самолетах, танках, кораблях, пушках. Сейчас где-то там, далеко на материке, идет война. Люди убивают друг друга тысячами, а здесь, во всем поселке, живет всего сто человек. Идет война. Где-то там горит земля.

После Стукалова слово взял Багра́т:

— Я так понимаю создавшееся положение. Все мы сейчас находимся в состоянии войны. Мы даже малость опоздали с мобилизацией. Ибо вон Стукалов говорит, что немцы напали на нас двадцать второго июня, а сегодня, как мы знаем, двадцать четвертое. Сутки ушли за счет разницы во времени между нами и материком, и еще сутки потребовалось, чтобы весть донести до Седанки.

— Ты непонятно говоришь, Багра́т, — бросил реплику с места Старый Охотник, — даже я, Старый Охотник, и то не понимаю тебя.

— А тут понимать нечего, Старый Охотник, — продолжил Багра́т, — я хочу сказать, что страна наша большая. Вот мы с вами собрались на лужайке под самым солнцем а там, где теперь идет война, — ночь.

— Так не бывает, — сказал кто-то с места.

— Так не бывает, — повторили многие.

— Так есть, — твердо ответил Баграт, давая знать, что он не шутит, — страна наша большая, и об этом, видимо, забыли немцы. Как забыли и о том, что воевать с ними будут не только там, где сейчас ночь, но и всюду, даже здесь, в Седанке.

— А как? Как?

— А так! Что говорил нам товарищ Стукалов? Пушнины давать больше, оленины давать больше, рыбы ловить больше. Я хорошо знаю, что на такое дело живота жалеть нельзя...

— У нас на Рязанщине, — перебил Баграта Стукалов, — говорят: если ты имеешь, к примеру, четыре коровы, то три отдай воину, чтобы хоть одну спасти для детей. А то и детей лишишься, и коров всех.

— Тумгугум Стукалов, — встал с места молодой пастух, — все нам ясно. Я пять классов окончил в Тигиле и знаю, что молодые люди служат в армии. Я тоже хочу в армию. Хочу воевать против врагов.

— В тундре тоже нужны молодые люди, — сказал Стукалов. — Война, судя по всему, не на один день, а может, и не на один год. А это значит — воевать со временем придется всем. Разве то, что каждый из нас будет работать, не жалея сил и времени, отдавая все до последнего фронту, — не означает воевать? Кто-то должен стрелять во врага, а кто-то должен кормить своего воина. Вот и выходит — все делаем одно общее дело.

Вечером, когда Стукалов сидел за столом в рубленом доме Баграта, вновь зашел разговор о фронте и тыле. Баграт еще на собрании хотел было спросить у Стукалова, почему это аборигенов полуострова не мобилизуют, да в последний момент передумал, вернее, сдержал себя, И вот тут, дома, он все-таки задал этот вопрос:

— Я тебя спросить хотел, Олег Александрович. Задумался я над словами молодого охотника, который просился сегодня на фронт. Почему наших ребят в армию не берут? Жил я здесь столько лет, а все ни разу не задумывался над этим, и вот сегодня...

— Ты пойми, Баграт, наша страна, конечно, нуждается в каждой паре рук. Как бы нас ни было много, все равно фронту будет не хватать людей. Но Советская власть не может посылать на фронт необученных людей. А обучать их раньше — тоже дело непростое. Ведь они только-только в школу пошли, всего несколько лет. Тем, кто пошел учиться с восьми лет, сегодня нет и пятнадцати. Вот закончим войну, вырастет новое поколение аборигенов, тогда и спрос со всех будет одинаковый...

— Выходит, мы сейчас... — вставила Натсайа, однако Стукалов не дал ей договорить.

— Ничего не выходит, Наташа. Я повторяю: мы не можем позволить, чтобы не обученные военному делу люди пошли на фронт. Технику знать нужно. Конечно, прежде чем отправиться на фронт, научат, как с ней обращаться, но, для того чтобы освоить ее, нужно общее развитие. Вот оно все как сложно...

— Ты знаешь, Стукалов, — сказал Баграт, — я слушаю тебя и чувствую, что ты скрываешь от нас что-то.

— С чего ты взял?

— Я же сказал — чувствую. Ты, по-моему, прощаться сюда пришел.

— Я пришел по заданию партии проводить разъяснительную работу с населением, в частности с аборигенами. Вот ты правильно говорил, что страна наша большая: два дня потребовалось, чтобы узнать о такой черной вести, как война. А ты подумай, что сейчас во всех поселках коммунисты проводят беседы. Успели мобилизовать, дать приказы — и всё по телеграфу. Я сразу после тигильского собрания к вам прискакал...

— Чтобы провести, как ты говоришь, разъяснительную работу и проститься? Ты на материк собираешься, на фронт. Я же чувствую.

— Мысль есть такая, но я себе не хозяин.

— Должен ты со всеми вместе бить врагов, как это бывало в Гражданскую... Интересно, где сейчас Григорий Иванович?

— Думаю, Чубаров сейчас на фронте. Если он жив, то, конечно, на фронте. Иначе быть не может. — Стукалов не знал, что героя Гражданской войны, кадрового военного Григория Чубарова расстреляли в 1937 году. — Готовились мы к ней, проклятой, а все не очень верилось, что она придет. Да так быстро, неожиданно. Всем будет тяжело. И ты правильно догадался, Баграт, — я собираюсь на запад. Не пустят — удеру. Схлопочу взыскание, но удеру. Эту власть я сам завоевал, кому же за нее драться, если не мне. Так что вы здесь оба останетесь за меня, за Советскую власть. В городе знают вас хорошо. Будут навещать. Помогать будут. Но нельзя скрывать — тяжело придется. Все надо будет урезать. И хлеб вкусный тоже. И вам нужно объяснить это людям.

\* \* \*

Два, а то и три раза в году Седанку навещала Красная яранга, визиты ее стали не только привычными для коряков, но и необходимыми. Вот уже десять лет, как группа, состоящая из



врача, учителя, киномеханика, библиотекаря, разъезжала по тундре, останавливалась, правда ненадолго, в поселках, чумах, оленеводческих бригадах. Группу эту кто-то назвал Красной ярангой, и с тех пор по всему Северу так и называли ее. В некоторых местах пробовали называть ее Красный чум, Красная юрта, Красная палатка, но прижилось только это название — Красная яранга.

Последние два года руководителем Красной яранги был Виктор Шевченко — небольшого роста молодой человек с аккуратной черной бородкой и тонкими усиками. В Седанке все его называли «Белый человек из Красной яранги». Седанкинцы уже знали, что в день приезда Красной яранги Шевченко не будет проводить беседу. В день приезда врач осматривает больных, назначает лечение. Библиотекарь забирает старые книги и выдает новые. Вечером киномеханик крутит несколько фильмов подряд. На следующий день он вновь показывает те же фильмы, и все смотрят с удовольствием. И только Шевченко не показывается на люди... Утром он собирает людей в сельсовете и проводит беседу о международном положении. Начинал Шевченко всегда с того, что ему в жизни очень не повезло. В разное время семь раз он ломал одну ногу, и в результате она у него стала немного короче другой. Вот из-за этого его и не взяли на фронт. И он всегда вздыхал, говоря об этом. А потом подробно рассказывал о положении на фронтах, о том, почему союзные войска затягивают открытие второго фронта. Вопросов Виктору обычно не задавали.

Красную ярангу БаграТ ждал со страхом в душе. Точных сроков для передвижения яранги по тундре никто не устанавливал, — это было невозможно. Так что ждали ее постоянно. Шевченко всегда привозил ему кипу газет и журналов. БаграТ их читал все, от корки до корки, до следующего визита Красной яранги. До Шевченко были другие начальники яранги, и те тоже привозили ему газеты и журналы. Но тогда совсем другое было. Тогда он читал тоже с интересом, но не так взахлеб, как сейчас. Год с лишним прошел, как идет на Большой земле война с немцами, а конца ей и не видно.

Зиму сорок второго — сорок третьего БаграТ запомнил на всю жизнь. Тогда неожиданно заболели сразу несколько человек в поселке. Заболела Наташа. Никто не знал, что с ними. Натсайу лихорадило, порой так сильно, что она теряла сознание. Седанкинцы говорили, что в таких случаях надо все тело растирать подогретым медвежьим жиром. Как назло, во всем поселке не было

ни капли жира. Но зима сорок второго — сорок третьего запомнилась не только поэтому. Не только потому, что Наташа лежала много дней в бреду, а они с маленьким Тиграном выхаживали ее. Тогда Багра́т читал в газетах, оставленных Шевченко, что немцы окружили Сталинград. И шел разговор, что если падет Сталинград, то Япония и Турция нападут на нашу страну.

...Рано утром в поселок прибыл отец Натсайи. Он вошел в жарко натопленный дом и, сняв с головы малахай, медленно направился к дочери. Она лежала на высоком деревянном топчане, укрытая двумя теплыми одеялами. Рядом молча сидел Багра́т.

— Ну как она? — спросил отец.

— Плохо. Все еще не приходит в себя и вся горит... — ответил Багра́т, не поднимая головы.

— Ты дай Натсайе много кипятка, а я пошел за медвежий жир...

— Постой, отец! — Багра́т посмотрел на тестя и вдруг обратил внимание, что тот сильно постарел, сгорбился. — Постой. Где ты зимой достанешь медведя? Они ведь спят сейчас в берлогах.

— Я знаю, где есть берлога.

— Сейчас же всё под снегом. Ты один ничего не сделаешь. Далеко берлога?

— Нет.

— Погоди. Поедем вместе.

— Нельзя вместе.

— Ничего. Стар ты, чтобы один ходить на медведя, даже на спящего. Я слышал, спящий — он страшнее любого другого, когда его будят...

— Нельзя вместе, — повторил отец и направился было к выходу.

— Сейчас, не успеешь ты выйти из дома, прямо через окно перестреляю твоих собак. Ты лучше подожди меня.

— Папа! — позвал Тигран из другой комнаты. — Кто к нам пришел?

Услышав голос внука, дед улыбнулся и как-то еще больше сгорбился. Он направился к Тиграну, и Багра́т обратил внимание, что старик слегка прихрамывает.

— Тигран, — сказал Багра́т, осторожно вставая с места.

— Да, отец.

— Быстро одевайся и беги за Старым Охотником. Скажи, я его зову.

— Сейчас, отец.

— Зачем нужен Старый Охотник? — спросил Эйхо, выходя из смежной комнаты.

— Мы к берлогу поедем втроем.

— На один нарта нельзя втроем.

— Мы поедем на двух упряжках. Ты лучше помоги мне одеться.

Багра́т боялся за Наташу. Уже третий день она не приходила в сознание, в рот не брала ничего, кроме кипяченой воды. Он смотрел на нее — осунувшуюся, пожелтевшую, — и сердце у него обливалось кровью.

Приходу Эйхо он вначале обрадовался. К этому молчаливому человеку, который всю жизнь провел в тундре, Багра́т относился с уважением, и всегда мысли о тесте вызывали в нем особое чувство. Можно сказать, чувство спокойствия. Есть на краю света не просто мужественный и надежный человек, который всегда придет на помощь, но этот человек — родственник. Старый Эйхо. Отец Наташи. Дед Тиграна. И когда Багра́т увидел его таким — высохшим, маленьким, сгорбившимся, — в нем почему-то появилась злость. Он словно обвинял тестя в том, что тот так постарел за последнее время. Понимал, что тут скорее жалость должна быть, а не злость, но ничего не мог с собой поделать. Он очень боялся потерять Наташу. Проклинал болезнь, которая так безжалостно и безнаказанно у него на глазах готова унести родное существо, ставшее его частицей.

\* \* \*

Две упряжки медленно выходили из поселка, морозный воздух наполнился прерывистым лаем. Собаки то и дело останавливались. Можно с уверенностью сказать: остановок было столько, сколько в упряжках собак. Но уже через полчаса по открытой ровной тундре одна за другой молча плыли упряжки. Только слышно порой хриплое дыхание собак и поскрипывание нарт.

Багра́т ехал со Старым Охотником. Для равновесия весь остальной груз и юколу погрузили на нарту Эйхо. Каюры в пути не разговаривают. Даже при самой тихой погоде встречный воздух обжигает. Так что не до разговоров. Багра́т иногда, наклонившись в сторону, смотрел на переднюю упряжку, на согбенную спину отца Наташи. Багра́т несколько не сомневался, что они найдут берлогу, убьют медведя, добудут жир, хотя он ни разу не подумал, как все это будет происходить, как они вытащат из берлоги медведя. Он просто верил тестю. Верил, что Наташа будет спасена. И не только Наташа, а все больные в Седанке.

Мысли о Наташе, о других больных Седанки сменились мыслями о войне. Это было неудивительно. О войне, о фронте он думал постоянно. Только теперь мысли не были тяжелыми и удручающими. Багра́т ни на минуту не сомневался, что Сталинград наши не отдадут. В Сталинград он верил. Сталинград не должен пасть не только потому, что после этого победа достанется более дорогой ценой. (В окончательной победе при любых условиях Багра́т не сомневался. Он слишком хорошо знал русских.) Этот город не должен пасть прежде всего потому, что, объявив войну на Дальнем Востоке, Япония уничтожит начисто некоторые народности и племена. И никакой уже победой не вернешь такие потери. Этот город не должен пасть, потому что Турция, начав войну в Закавказье, пока суд да дело, не оставит там ни одного христианина. Исчезнет с лица земли не только Армения, но и Грузия. Вот что значит один только Сталинград. И, может быть, сейчас, когда Багра́т и двое старых коряков направляются по морозной тундре за медвежьим жиром, чтобы спасти нескольких людей, может быть, именно сейчас, зимой, Сталинград, выбиваясь из последних сил, яростно бьется с врагом, чтобы спасти Россию, чтобы спасти народы Дальнего Востока, чтобы спасти грузин, армян и всех других. И Сталинград выстоит.

Упряжка остановилась на границе между кочковатой тундрой и негустым смешанным лесом. Эйхо слез с нарты.

— Надо рубить палки, — сказал он.

— А где сама берлога? — спросил Багра́т.

— Там, — Эйхо махнул рукой в сторону леса.

— Где там? — переспросил Багра́т.

— Берлогу не увидишь, даже находясь рядом, — пояснил Старый Охотник, — просто надо знать ее место. Эйхо знает.

— А зачем рубить палки?

— Не палки, — сказал Старый Охотник, — Эйхо имел в виду макым, копыя.

— Вы мне можете оба толком объяснить, как все будет происходить?

Эйхо словно не понял вопроса Багра́та. Он направился к своей упряжке, развязал нарту и стал перекидывать на развернутый кукуль топор, карабин, лом, лопату. Завернув все это в кукуль, он перевязал его бечевкой. Потом достал из нарты юколу и стал раздавать по одной рыбине каждой собаке. Вторая упряжка, видя, как, радостно скуля, едят рыбу их собратья, вскочила на ноги и с нескрываемой завистью смотрела на них. Они вмиг присмирели и завили хвостами, когда увидели, что

старик Эйхо приближается к ним, неся охапку замерзших рыбин. Каждая собака угадывала, какая юкола предназначена ей, и, не мешая соседке, хватала свою порцию на лету.

Эйхо взял свернутый кукуль на плечо и вошел в лес. Следом за ним молча шли Старый Охотник и Багра́т, который старался не отставать от друзей. Издали лес казался березовым. Белые кривые стволы камчатских каменных берез бросались в глаза в первую очередь. Но вблизи можно было разглядеть ольху, тополь, иву, пихту.

Зимой они мало чем отличаются друг от друга: сухие серые ветки, покрытые белым снегом и инеем. Зимой на этом холодном одноцветном фоне выделяется только одинокая зеленая ель да рябина привлекает огненно-красными гроздьями. Именно между елью и рябиной находился бугорок, весь покрытый кочками. Здесь и остановился Эйхо, осторожно опустив на землю свою ношу. Он развернул кукуль. Винчестер поставил у дерева, все остальное сбросил на снег и предложил Багра́ту сесть.

— Я что, сюда пришел отдыхать, что ли... — строго сказал Багра́т.

— Садись! — так же строго приказал Эйхо.

Багра́т впервые за долгие годы их знакомства почувствовал в своем тесте, казавшемся обычно робким человеком, силу, впервые увидел в нем командира, которому нужно было подчиниться. И все же он, сев на кукуль, виновато повторил:

— Ну, в самом деле, чего же мне сидеть?

— Отдохни, Багра́т, — ответил за Эйхо Старый Охотник. — Честно говоря, я никогда сам не брал медведя в берлоге...

Эйхо молча взял лом и, тыча им у подножия горки, обошел ее.

— Вот здесь, — наконец сказал Эйхо и воткнул лом в снег.

Вскоре вместе со Старым Охотником они притащили к этому месту несколько тяжелых пней, подобрали валявшиеся деревья и ветки. Багра́т, не очень еще понимая, для чего все это нужно, не выдержал, подошел к ним. Старики крепили деревья, пни, ветки, и Багра́т взялся им помогать. Все трое работали молча. Багра́т охотно делал свое дело, стараясь уловить ход дальнейших действий. И всякий раз придумывал очередной вариант, но спрашивать больше не решался. Он догадывался, что и Старый Охотник не все знает, что тот просто слепо выполняет распоряжения Эйхо. И от этого Эйхо еще больше возвысился в его глазах. И он не мог нарадоваться тому, что заново открыл для себя тестя, отца Наташи, дедушку Тиграна. Он

чувствовал какую-то неловкость, что до сих пор, вот уже столько лет, относился к нему хотя и с уважением, но без того почтения, которого, наверно, заслуживает этот человек.

Когда Эйхо и Старый Охотник взобрались на вершину холмика и стали ломом и лопатой долбить землю, Баграт наконец понял секрет этой необычной охоты. Сомнений больше не было, особенно после того, как взгляд его остановился на нескольких остро наточенных копьях.

— Баграт! — закричал сверху Старый Охотник. Баграт поднял голову.

— Возьми винчестер и становись у выхода из берлоги. Мало ли что...

Баграт тотчас же взвел курок. Он понимал, что приказ исходит, конечно, от Эйхо, который то ли из-за плохого знания русского, то ли из-за природной скромности и молчаливости редко вступал с ним в разговор. Было и другое, что за долгие годы Баграт не мог не заметить. Эйхо относился вообще к так называемым белым людям с большим почтением, а к Баграту отношение его было особенное: за его прошлое, за хлеб.

Баграт держал винчестер на изготовке и исподлобья смотрел, как на горке два старика с сосредоточенными лицами, чем-то очень похожие друг на друга, долбят мерзлую землю. Он заметил, как отец Натсайи что-то сказал Старому Охотнику, после чего тот немедленно обратился едва слышно к Баграту:

— Подай макым.

Баграт одно за другим передал все копья и вновь встал на свое место с винчестером. Стоя по обе стороны глубоко вырытой ямы, отец и Старый Охотник дырявили копьями вершину берлоги. Вдруг один макым легко прошел вниз, вырвавшись из рук Старого Охотника. Старый Охотник принялся расширять отверстие, а Эйхо топором быстро подтачивал затупившиеся концы макымов.

Стоя друг против друга, Старый Охотник и Эйхо били копьями по краям отверстия. Они не смотрели вниз, зная, что там, в черном кругу, все равно ничего не увидишь. Смотрели куда-то в сторону, наклонив головы, словно прислушивались к тому, что происходит внизу.

— Баграт, встань сбоку от выхода, — передал Старый Охотник распоряжение Эйхо.

— Зачем? — громко спросил Баграт.

— Кыгумаги! — прикрикнул Эйхо, обращаясь к обоим сразу. Баграт знал, что по-корякски это означает «молчите».

Он встал сбоку, продолжая смотреть на стариков, и все никак не мог понять, почему Эйхо предложил ему сменить место. И вообще почему с самого начала толком не объяснили, что нужно делать?.. Почему обо всем нужно догадываться самому?.. А если не догадаешься? Вдруг Баграт увидел, как пни, деревья, ветки сдвинулись с места. Через мгновение все заграждение стало разваливаться. Только тут Баграт понял, что, будь он на прежнем месте, он не успел бы переместиться и занять нужную позицию. А сейчас он видел, как из щели, образовавшейся между горкой и заграждением, просовывалась сонная морда медведя.

Эйхо скатился с горки, подбежал к Баграту и встал рядом с ним, не выпуская из рук макым. Когда полностью высунулась голова медведя, он тихо сказал:

— Стрелять в леут! Только в леут, только в голова.

Раздался выстрел, нарушив тишину вокруг. В тихом морозном лесу долго еще держалось эхо от выстрела. По тому как спокойно стояли Эйхо и Баграт, Старый Охотник догадался, что все кончилось благополучно, и, вмиг расслабившись, сел, глубоко вздохнул и улыбнулся.

\* \* \*

Медвежий жир действительно помог Натсайе. И не только ей. Все, кто болел в то время, были спасены. Несколько дней Натсайа не могла вставать с постели. Она чувствовала слабость. Еще не пробуя встать, она, словно зная, что случится, сказала Баграту:

— Я не смогу стоять на ногах.

— Сможешь, — успокаивал ее Баграт. — Ты только попробуй.

Но однажды, поднявшись, она упала рядом с кроватью на медвежью шкуру. Села, обхватив руками колени, и рассмеялась.

— Вот видишь, какая стала, — проговорила она, едва переводя дыхание.

— Все будет хорошо, — сказал Баграт, помогая ей подняться.

В комнату вошел, скорее ворвался, маленький Тигран, одетый в яркую кухлянку и в не менее яркие торбаса и малахай, вышитые разноцветным бисером. Родители молча уставились на стоявшего у порога сына, который — по всему было видно — только оторвался от игры с мальчишками, и ждали, что тот скажет. Весь его вид, лицо, сияющие черные глаза говорили о том, что в дом он вернулся вовсе не случайно. Наконец, словно обретя речь, Тигран сказал:

— Красная яранга!  
— Что?! — обрадовался отец.  
— Красная яранга пришла в поселок, — повторил Тигран и выскочил на улицу.

Баграт и Натсайа посмотрели друг на друга. Оба они знали, что там, в мешках, привезенных людьми Красной яранги, находятся газеты, в которых будет написано о Сталинграде. В том, что Сталинград выстоял, Баграт не сомневался, потому что по опыту знал — плохая весть всегда приходит раньше.

Через некоторое время в дом к Баграту вошел Виктор Шевченко с мешком за плечами. Хозяева не ожидали этого визита. Баграт уже собрался было сам навестить Красную ярангу.

— Это тебе, Баграт, — сказал Шевченко, осторожно кладя мешок на пол.

— Ты проходи, Виктор, проходи. Жена, правда, болеет, но мы сейчас с тобой что-нибудь придумаем.

— Нет, Баграт, придумывать ничего не надо. Не пью я. Выпьем теперь после победы.

— Все равно проходи...

— Я спешил в Седанку из-за тебя, — сказал Шевченко, садясь за стол, — знал, что ты ждешь вестей с фронта... и потом, письмо есть тебе. От Стукалова.

Шевченко достал из кармана письмо и передал Баграту.

— Ты сам прочитай, — попросил Баграт, возвращая письмо, — что-то я волнуюсь. Боюсь даже.

Виктор развернул треугольник письма и начал читать:

— «Здравствуйте, дорогие Баграт и Натсайа! Пишу я это письмо вам, а сам думаю, когда же оно доберется до Седанки. Думаю, когда дойдет к вам, глядишь, и война кончится. Такие мысли меня и моих попутчиков сопровождали и тогда, когда мы ехали с Камчатки на фронт через всю страну. Долго мы ехали. Два с половиной месяца. Вот и говорили ребята, что, пока доберемся до линии огня, фашистов всех перебьют. Но нам еще драться и драться с гадами. Пишу я эти строки с берегов Волги. Вот и мыслю: пока отсюда доберемся до Берлина — тоже ведь время нужно. А войну, все так считают, кончим непременно в Берлине. Сталинград отстояли!..» Баграт и Натсайа, улыбаясь, посмотрели друг на друга.

— Ты читай, Виктор, читай, — попросил его Баграт.

— «Разбили гадов. Похоронили их трупы в снегу. Пусть хоть на том свете подумают о том, что они натворили. Я все собирался писать вам, да откладывал до счастливых дней. И



вот они настали. Сегодня читал фронтовую газету и вспомнил тебя, Баграт. Знал, что ты ждешь вестей о Сталинграде. Написано в газете, что мы, советские воины, окружили 330-тысячную группировку вражеских войск, взяли около ста тысяч пленных, в том числе две тысячи пятьсот офицеров и двадцать четыре генерала. Так что будь спокоен. Здесь я встречаю многих твоих земляков. Рассказываю им о тебе. Они передают привет и говорят, чтобы ты там, на краю света, не очень волновался. До Берлина мы непременно дойдем. Как там Седанка? Хватает ли хлеба? Ничего, скоро, очень скоро все будет хорошо. Передайте привет седанкинцам. Не буду перечислять имена: передайте всем без исключения. Вот и все. Мечтаю я теперь только об одном: из Берлина поскорее вернуться на Камчатку. Обнимаю вас всех, ваш Стукалов. Десятое февраля тысяча девятьсот сорок третьего года».

— Десятое февраля, — повторил Баграт, — а сегодня какое?

— Сегодня двадцатое апреля, — ответил Виктор.

— Значит, два с половиной месяца шло письмо. Не так уж долго.

— Хороший человек Олег Александрович, — тихо сказала Натсайа.

— Теперь, Баграт, после этого письма, можешь и не читать газеты, — пошутил Шевченко.

— Что ты говоришь, мой дорогой, — улыбнулся Баграт, — теперь-то как раз и надо читать все газеты и журналы. Ты лучше скажи, что там с этим проклятым вторым фронтом?

— Все тянут. Но теперь, думаю, союзники откроют его.

— Выходит, бить фашистов с нами не хотели, а добивать собираются.

— Выходит, так.

— Это не по-мужски.

— Кто в наш век соблюдает правила?

— Плохой, значит, век...

— Не век плохой, а мужчины, — сказала Натсайа, — вот и сейчас два мужика сидят за столом, а на столе пусто. Кто же так гостя принимает? Сам мне всегда говорил про гостей.

— Нет, нет, спасибо, я ухожу. В Седанке мы будем всего сутки, а дел много, — поблагодарил Шевченко и поднялся из-за стола.

— Сутки, говоришь? Вот и хорошо, — сказал Баграт, — я сегодня же возьмусь за дело, и на дорогу будет вам свежий хлеб. Я испеку свой самый вкусный хлеб в честь Сталинграда...

В Седанке проводилась корякская национальная ярмарка. Это была первая послевоенная зима. Последняя ярмарка прошла перед самой войной, и было это в Тигиле. Со всего района оленеводы тогда спешили в Тигиль, чтобы принять участие в ярмарке. И вот сейчас решили провести ее в Седанке. Теперь уже к седанкинцам приехали гости из всех поселков Тигильского района. Приехали те, у кого лучшие олени и собачьи упряжки. Приехали те, кто лучше всех бросает чаут, кто быстрее оленя пробегает по тундре с палкой в руках, кто, не боясь пятидесятиградусного мороза, по пояс раздетый, борется на снегу.

О ярмарке Баграт был предупрежден загодя и поэтому накануне выпек чуть ли не в два раза больше обычной нормы хлеба. Прямо на открытой площадке, рядом со строящейся школой, дородная женщина, приехавшая из Воямполки, варила пельмени. Много народу собралось вокруг костра, над которым висела огромная закопченная кастрюля. Полная женщина с добродушным лицом по очереди раздавала в деревянных тарелках пельмени. Ели их руками, обжигая пальцы. Но пока подносили ко рту, тесто успевало остыть, зато мясо внутри было горячим.

За наспех сколоченными деревянными прилавками стояли большей частью приезжие. Продавали кто глухаря, кто соболиную шкуру, кто кисет для лемишинки. Скорее не продавали, а меняли на другие вещи. И вообще трудно было назвать торговлей то, что делалось у прилавков седанкинской ярмарки. Это больше напоминало игру, нежели торговлю. Одни расхваливали свой товар, другие спорили до хрипоты, не соглашались с назначенной ценой. Но главным событием дня ярмарки были спортивные соревнования.

Баграт те два дня, пока проходила ярмарка, не выходил из дома. Ему было все хорошо видно из окон его дома. Но когда прибежала Ксюша, внучка покойного Эмкута, и еще с порога стала кричать: «Дедушка Баграт!» — он уже знал, что скоро начнутся соревнования по борьбе.

— Сейчас иду, Ксюша, сейчас выхожу, — заторопился Баграт и начал одеваться.

Вся Седанка от мала до велика вышла поболеть за своего борца Гришу Трапезникова. Сильнее его не было, как писали журналисты, во всем Корякском национальном округе человека. Сильнее, быть может, был только Тымыртыгин Трапезников — Гришин отец. Так считали все седанкинцы. После того как Гриша однажды руками сломал олени рога, слава о нем

обошла весь Тигильский район. О юноше рассказывали даже в самом Петропавловске.

В центре тесного пестрого круга людей боролись двое юношей, раздетых по пояс. Тела у них были покрыты красными ссадинами. И всякий раз, когда оба борца падали на мерзлый снег, ссадин становилось больше. Сыпучий снег был как разбитое стекло. Круг неистовствовал. Казалось, крики людей слышны были в самых далеких табунах. Седанкинцы дружно скандировали: «Гриша! Гриша!» Вскоре весь круг болел только за Гришу. И болел не только потому, что приезжие хотели отдать дань уважения хозяевам ярмарки, организаторам соревнования. Гриша боролся против борца, который, наверное, вдвое был старше его. А так уж повелось, что люди обычно берут сторону молодого, юного. Противник Гриши Трапезникова был не только старше, но и крупнее и шире в плечах, да еще в чемпионах ходил.

Многих трудов стоило мускулистому и стройному Грише Трапезникову применить приемы, которыми он обычно пользовался во время других схваток. Накануне он соревновался в Тигиле и положил на лопатки всех своих противников. Но там все было иначе. Там он выступал с ребятами, которые имели такую же, как и он, весовую категорию. А тут особая борьба. Борьба на снегу. Никаких тебе весовых категорий. Болельщики видели, что юному борцу не удастся одолеть противника. Но вот Гриша сделал обманное движение, противник резко наклонился вперед, Гриша Трапезников сделал подсечку и всем телом навалился на плюхнувшегося в снег противника. Оглушительно кричали счастливые болельщики.

Это был последний день ярмарки. После полудня гости разъехались по домам. А вечером вся Седанка собралась у костра и под ритмичный грохот бубна праздновала день удачи. Молодежь танцевала. И среди танцующих можно было увидеть Тиграна и Ксюшу. Поселок чествовал Гришу Трапезникова.

\* \* \*

На зимние каникулы школьников из Тигили возили по домам. Обычно тридцатого декабря дети бывали дома. Но иногда разыгрывалась пурга и задерживала их отъезд.

Двадцать восьмого декабря с раннего утра неожиданно задула «Камчатка».

— Обидно, — вздохнул Баграт, сидя за столом, — не встретим Новый год с Тиграном.

Натсайа поставила перед ним большую пиалу темного чая.

— Да, обидно, — повторила она и присела рядом, — только ты не переживай, Багра-т-джан. Пурга пройдет, и мы все втроем Новый год встретим.

Багра-т молча пил чай. Наташа долго, словно изучая, смотрела на Баграта, потом нагнулась, поцеловала его и встала.

— Ты куда? — едва слышно спросил Багра-т.

— Навещу Старого Охотника. Заболел он что-то.

— Накинь на плечи кухлянку, смотри, как воет...

— Хорошо, — сказала Наташа и, накинув кухлянку, вышла.

Багра-т медленно поднял голову и уставился на дверь. От очередного порыва пурги задребезжали окна.

\* \* \*

Натсайа уже в пути, сидя на собачьей нарте, вспомнила, как всегда Багра-т радовался Новому году. Это был, пожалуй, единственный день, когда Багра-т много смеялся. Особый смысл приобрел праздник после рождения сына. Елку в лесу Багра-т рубил сам. И чего только не навесят на нее: цветастые тряпочки, куски кожи, пареньские ножи, деревянных идолов. Вот и сейчас елку нарядили, а Тиграна нет. Пурга помешала ему приехать.

С каждым метром все сильнее ощущалось, что собаки выбиваются из сил. Встречный ветер мешал им дышать, и порой они, поворачивая головы, делали несколько глубоких вдохов, словно готовились через минуту нырнуть в воду. Натсайа то и дело соскакивала с нарты. И как только начался перевал, скинула с себя кухлянку, крепко взялась за «стоячий баран» и, стараясь не терять скорости, помогала упряжке тащить нарту в гору. Особенно тяжело было двигать ее с места после остановки. А они случались все чаще. Натсайа падала, проваливалась в глубокий снег или придорожную яму.

Дорога через перевал проходила в лесу. Вот здесь Натсайа вдруг почувствовала, что дорогу до конца ей не осилить. Собаки явно устали. И сил уже нет ни у нее, ни у собак.

Но Натсайа шла. Шла упорно. Порой приходилось по нескольку раз поднимать одну и ту же собаку. И пока она поднимала первых в упряжке, последние снова ложились в снег. Казалось, им нечем было дышать. Небо смешалось с землей. Когда собаки уже совсем не могли идти, Натсайа пошла одна. Она шла к сыну.

\* \* \*

Ночь Багра-т провел в доме Старого Охотника. Горели свечи — одна на столе, другая на дощечке, прибитой к подпорке. Дом мол-

чал. Казалось, и Багра́т, и Старый Охотник напряженно прислушиваются к пурге. Несколько раз Старый Охотник начинал было разговор, но, видя, что собеседник его не слушает, замолкал. Он уже признался Багра́ту, что приходила к нему Натсайа и упросила дать упряжку. Сказала, что сотни раз одна каюрила до Тигиля и обратно и что каждую кочку знает на этом пути. И еще прибавила, что это очень важно для Багра́та. Она убедила Старого Охотника. И тот не смог отказать. А теперь вот ночь на исходе, а ее все нет.

— Надо поехать за ней, — нарушил долгое молчание Багра́т.

— Сейчас невозможно. Смотри, что творится...

— Тем более надо ехать за ней.

— Да, ты прав, Багра́т. Но сейчас мы застрянем, не сделав и шага. А Натсайа, может, прорвалась, может, успела.

— Может, — тихо произнес Багра́т.

— Я виноват. Я виноват во всем, — сказал Старый Охотник.

— Сейчас не это важно. У кого в поселке есть хорошая упряжка?

— Самая хорошая упряжка сейчас там, у Натсайы.

— Должна же быть другая.

— Разве что на оленях, но где сейчас возьмешь оленей?

— Если оленей негде взять, значит, надо на собаках. Я поеду.

— Никуда ты не поедешь, Багра́т. Возьми себя в руки. Я сам поеду. Есть неплохая упряжка у Интенкавава... И ветер, кажется, стихает...

Перед тем как отправиться в дорогу, Старый Охотник помог Багра́ту перебраться домой. Ветер и в самом деле стихал. Это говорило о том, что к утру пурга может кончиться.

Багра́т сидел за столом. Он опустил голову, навалившись лбом на сжатый кулак. Плохие предчувствия не оставляли его. «Сумасшедшая, — вслух произнес он, — разве так можно делать? Я виноват. Скис. Заныл. Вот и пошла за сыном. Что же ты наделала? Где ты? Что делаешь со мной?»

Багра́т с трудом встал из-за стола, в темноте подошел к топчану и лег. Тревожные мысли не давали ему покоя. Ему не хотелось верить, что Наташи нет дома. Он переворачивался с боку на бок, чувствуя невыносимую тяжесть в груди. Он встал, подошел к кровати Тиграна и, как это не раз бывало, взял оттуда маленькую подушку. Вернулся к топчану, лег, уткнувшись в подушку сына. «Тигран-джан, — вслух сказал Багра́т, — мать твоя сумасшедшая. Я должен был знать, что она пойдет за тобой. Я же ее так хорошо знаю. Где она сейчас? Добралась ли она до тебя? Зачем она это сделала, Тигран-джан?»

Багра́т был уверен, что случилась беда. Слишком хорошо он изучил этот край и знал, как опасна такая пурга. «Сумасшедшая... Как только ты могла отважиться... Одна. Ночью. В такую пургу. Неужели только для того, чтобы порадовать меня?»

Сквозь густо залепленные снегом окна с трудом пробивался в комнату свет. Пурги уже не было слышно. Гнетущая тишина усиливала тревогу Баграта. Он закрывал глаза и видел перед собой Натсайу. Маленькая, худенькая, одетая в белый халат, тогда, в больнице Лукашевского, она выглядела смешной девчонкой. Этой ночью он словно еще раз пережил годы, проведенные на Камчатке. Он подумал о том, как смешная худенькая девочка превратилась в женщину, которая напоминала ему степенных хозяек из патриархальной армянской семьи. Выросшая в тундре, в одиноком чуме отца, среди ветров и оленей, она и не подозревала, что ей придется ломать себя, становиться совершенно другим человеком, чтобы спасти душу инородца, невесть какими судьбами заброшенного в ее края.

...С самого начала Натсайа видела, как тяжело Баграту жить в их краю, и хотела, чтобы он хоть немного, но чувствовал себя как в родной Армении, которая виделась ей землей, устланной теплыми камнями. И потому сначала в чуме у костра, а затем в рубленом доме перед русской печкой всегда валялось несколько камней. Как-то Багра́т спросил ее о них, и она сказала, что в тундре есть такой обычай — разбрасывать камни возле костра. Но потом то один, то другой из коряков, приходя к ним в гости, справлялся о камнях, и тогда Багра́т настоял, чтобы Натсайа сказала наконец все как есть. «Ты же сам говорил, что в Армении много камней и все они теплые», — объяснила Наташа.

Как только сходил снег и тундра покрывалась зеленью, Натсайа собирала черемшу. В доме в праздничном настроении ждали, когда разнесется запах шашлыка. Она уже знала, что его делают только мужчины, и поэтому никогда не пыталась участвовать в его приготовлении. Часто они вспоминали тот день, когда Багра́т впервые в Седанке делал шашлык. Было это так. Багра́т в первую весну попробовал черемшу и сказал, что она напоминает лук. Никто не знал, что это такое. Багра́т взял черемшу, долго мешал ее с нарезанными одинаковыми кусками парной оленины и дал им настояться несколько часов. Нарубил прутьев из шиповника, содрал с них кожуру, заострил концы — и шампуры были готовы. Когда костер осел, исчезло пламя, Багра́т стал раскладывать шампуры с нанизанными на

них кусками мяса, к которым прилепились мелко нарезанные стебельки и листья черемши. В тот день Седанка узнала еще одно слово — хоровач — шашлык. Когда немного подрос Тигран, который очень любил шашлык, Натсайа попросила разрешения у Баграта иногда самой готовить шашлык дома, в русской печке. «Дома же никто не увидит, что шашлык делает женщина, так что ты можешь не волноваться», — сказала она. Ничего он тогда не ответил, только улыбнулся и взялся из толстой железной проволоки изготавливать шампуры. Он сначала молотком бил по полуметровой проволоке до тех пор, пока она не становилась плоской, как узкая линейка.

Во время разговора Натсайа всегда смотрела Баграту в глаза. Она не могла иначе. По глазам должна была знать обо всем: продолжать ли разговор, настоять ли на своем, а может, перейти на другую тему. Он это замечал, и с годами у него увеличивалось уважение к ней.

Натсайа, казалось, всегда следила за Багратом, как мать следит за маленьким несмышленишкой. Она смотрела за тем, чтобы он вдруг не затосковал. И если такие минуты наступали, непременно придумывала ему какое-либо занятие: то принесет торбаса, то попросит, чтобы он мелко нарубил мороженого мяса. Иногда сама притворялась больной. Когда родился сын, Натсайа шептала Баграту, сидя у его изголовья: «Мне доктор сказал, что я больше не смогу родить. А я хотела бы еще. Но ничего, ведь у нас есть Тигран. Он вырастет, и у него родится сын, которого назовут твоим именем. И Багра́т подрастет в тундре, а затем поедет в Армению».

Наташа ни разу в присутствии Баграта не произносила слов «муж», «жена», хотя они сыграли свадьбу по всем законам тундры, а позже сам Стукалов зарегистрировал их брак по всем законам Советской власти. Натсайа считала, что у Баграта была более близкая женщина — Манушак, и до окончания века она останется ему женой. А сама Натсайа — мать его сына. Она не заняла место Манушак. И никогда не займет. Это место всегда останется за Манушак — и здесь, на этой земле, и там, на небесах.

...Багра́т с трудом приподнялся на локти. В комнате стало уже светло. Ему было немного зябко. Он подошел к столу и сел на свое место. Зябкость не исчезала.

Дверь открылась неожиданно. Багра́т даже не шелохнулся. К столу тихо подошел Старый Охотник и сел рядом. Багра́т поднял голову, посмотрел в глаза Старого Охотника и тот тотчас отвел взгляд в сторону.

— Собаки у нее застряли на полпути, а Натсайа все еще шла, — сказал шепотом Старый Охотник.

— Где Наташа?

— Собаки застряли... А она еще шла. Еще долго шла. Потом она ползла. Она еще долго ползла.

— Где Наташа? — спросил Баграт.

— Она... замерзла...

— Где она, Старый Охотник? Скажи мне, где Натсайа?

— Она в моем чуме. Там женщины.

— Где Тигран?

— Он в Тигиле. Может, не надо пока ему ничего говорить?

— Так нельзя, — едва слышно сказал Баграт, — нет. Сын должен знать...

\* \* \*

Похоронили Наташу у подножия сопки. Той самой сопки, на которую взбирался много лет назад Баграт, чтобы принести будущему тестю снега. А сейчас все кругом было белым-бело. Только крохотная горка сырой черной промерзшей земли выделялась на снегу. То был свежий холмик, возвышающийся над могилой Натсайи. Рядом, друг подле друга, сидели Баграт и маленький Тигран. Они молча смотрели на промерзшую землю. Метрах в двадцати у вытоптанной тропы стоял Старый Охотник.

После пурги воздух будто звенел от мороза, который особенно усилился к вечеру. Баграт обнял сына за плечи и сказал:

— Надо идти, Тигран.

Тигран ничего не ответил. Он словно не слышал отца.

— Надо, Тигран, вставай, — повторил Баграт, — помоги мне. Надо идти. Сегодня к нам люди придут. Закон есть у нас такой. Когда умер отец Натсайи — твой дед, — весь поселок собрался. И сейчас будем накрывать на стол. Обычай такой есть у армян, у русских, у христиан. А теперь вот у коряков, седанкинцев.

— Пойдем, отец, — согласился Тигран, — я согласен, это правильный обычай.

Мальчик хотел было помочь отцу встать, но слишком тяжелым был Баграт и слишком долго сидел на снегу. Тигран еще раз сделал попытку приподнять отца, и, к его удивлению, тот довольно быстро поднялся. Только тут Тигран увидел рядом Старого Охотника, который придерживал Баграта за спину. Все трое еще минуту постояли у могилы и медленно зашагали к поселку.



Багра́т оказался прав: весь вечер люди приходили к ним домой, и женщины помогали накрывать на стол. Тигран первый раз видел, чтобы отец так много пил. Он за один день постарел. Несколько раз Тиграна просили лечь спать, но он отказывался. «Я буду до конца сидеть рядом с отцом». К утру дома остались одни только мужчины. Они пили разбавленный спирт, говорили про Наташу. Вспоминали многое. Багра́т особенно прислушивался, когда говорили о ее детстве. Последним слово взял он сам:

— Когда вчера вы оставили меня и Тиграна одних с Наташей, я смотрел на могилу и думал, что там рядом есть место для меня. Я ей обещал, что не покину ее. Просил, чтобы она ждала меня. Там, где сейчас лежит Натсайа, там — маленькая Армения. Наша с ней Армения. Тигран вырастет, поедет на родину отцов и дедов и привезет с собой горсть земли оттуда. Привезет и высыплет на могилу матери. Натсайа вернула меня к жизни, вы приютили нас. Вот уже сколько лет я, встречаясь с каждым из вас, всегда на ваших лицах вижу добрую улыбку, и теперь ваша земля — моя вторая родина. Слишком дорогой ценой она досталась мне.

Все выпили молча, один за другим встали из-за стола. Они кланялись Багра́ту, целовали Тиграна и уходили. За длинным тяжелым столом остались только отец и сын. Тигран наклонился к отцу и коснулся взъерошенной головой его плеча.

— Светает уже, Тигран. Ты ложись, поспи немного.

— А ты?

— Я посижу.

— А что завтра будем делать?

— Не завтра, а сегодня, Тигран. Будем печь хлеб. В поселке не осталось хлеба. Все принесли к нам домой.

\* \* \*

После смерти Наташи Багра́т долгое время почти ни с кем не разговаривал. Только дома двумя-тремя словами перекидывался с Тиграном. И, может, поэтому ему так запомнилась встреча с журналистом Борисом Дубровиным, приехавшим из Петропавловска-Камчатского. С первой же минуты Багра́т почувствовал в госте что-то знакомое и даже родное. Его поразили до боли знакомые, голубые глаза приезжего журналиста. Оказалось, Дубровин — родной сын Олега Александровича Стукалова. Багра́т долго не мог скрыть волнения.

Слишком много значил в его жизни Стукалов, с чьим именем Багра́т связывал все добрые перемены на Камчатке. Стука-

лов был единственным человеком, от которого Баграт получал письма. Он все их сберег.

Последнее письмо пришло от Стукалова зимой сорок третьего, и с тех пор о друге не было ни слуху ни духу. И вдруг появляется молодой парень — сын Стукалова.

Первым делом Баграт справился о том, почему Дубровин не носит фамилию отца.

— История эта долгая, — сказал Борис, снимая пальто.

— Ничего, расскажи. Ты, брат, так обрадовал меня своим приходом... А как нашел-то меня?.. Но сначала про фамилию...

— С фамилией-то беда вышла. Да вот теперь исправить — дело нелегкое. Документы все выписаны на материнскую.

— Скажи мне, что со Стукаловым, жив ли он?

— Нет, отец умер. Под конец войны он в плен угодили. Вернулся живой, да недолго побыл с нами. Когда он на фронт уехал, мы с матерью через некоторое время перебрались в Рязань, на ее родину. Отец вернулся после плена к нам. Страшное то было время, особенно для бывших военнопленных. Дело дошло до того, что нам дома уже нельзя было оставаться. Находились люди, которые тыкали пальцем, напоминая об отце. Вот и переехали тогда в Москву. Мама сменила мне мою фамилию на свою девичью. Она думала, что так будет лучше для меня. Я мать не могу винить, она очень любила папу. Отца отозвали. От него года два приходили письма. Потом вдруг перестали. Нам сообщили, что он скончался. Я все письма его храню, перечитываю. В каждой строке своей он словно пытался убедить меня и мать, что никто в случившемся не виноват, что произошло недоразумение, ведь он попал в плен раненым, безоружным. Все верил, что ошибку непременно исправят... По письмам было видно: он все боялся, что я из-за случившегося могу вырасти озлобленным.

— Стукалов хорошо знал, что озлобленность человеку плохой помощник. И я понимаю его беспокойство за своего сына. Ну а как все-таки ты нашел меня?

— Я журналист. И сейчас как раз занят поисками...

— И кого ты ищешь? — перебил Баграт.

— Чубаровцев и всех, кто знал их. В архивах отца нашел многое о походе красноармейцев под командованием Чубарова. Из писем узнал, что и вы виделись с Григорием Ивановичем...

— Виделся — не то слово. Я словно и не расставался с ним.

— Вот мы и решили пройти маршрутом Чубарова, поговорить с теми, кто встречался с красноармейцами...

— А кто это «мы»?

— Со мной один врач, кстати — земляк ваш. Он-то и собирал материалы о чубаровцах. Уже несколько лет работает над ними. Можно считать, что и меня он нашел. Он совершит поход по тундре на собачьих упряжках. Я-то сам не пойду в поход, но буду готовить для печати репортажи вашего земляка Эдика Гамбаряна. Так что скоро приедем сюда, ведь Седанка лежит на чубаровском маршруте. Тогда и встретитесь с вашим земляком.

— Хорошее дело вы задумали. Дороги отцов нельзя забывать.

— Мы обязательно приедем к вам, — сказал Дубровин, — мне очень нужно, чтобы вы рассказали о моем отце.

— Хорошо, сынок, я расскажу о твоём отце. Всякий раз, когда слышу «Советская власть», мне вспоминается Олег Александрович Стукалов с его добрыми глазами и добрым сердцем. Старики, помню, называли его не по имени и отчеству и не по фамилии, а просто — «русский». Как-то я заметил, что они и время определяют так: «Это было до прихода русского». Только вот что меня до боли тревожит, Борис, дорогой. Не верю, что отец твой — враг народа. Не верю. Ужасно то, что до меня дошли подобные слухи и о Чубарове, мол, и он — враг народа. У меня такое впечатление, что это все кому-то надо было. Мне очень помогают люди, присылают книги, а из Тигиля — газеты, журналы. Я многое читаю от корки до корки, и часто меня терзают тяжелые мысли. Кажется, не совсем расстались со Сталиным.

\* \* \*

После смерти матери в характере Тиграна многое изменилось. Он горячо любил мать и долгое время не мог смириться с тем, что больше ее не увидит.

Шумный, задиристый, веселый непоседа Тигран стал тихим, молчаливым, не по годам серьезным. Мальчик вдруг почувствовал, что со смертью матери жизнь стала другой.

Его уже не радовали ни военные кинофильмы, ни яркие картинки в новых школьных учебниках. В школе он молчал, молчал и дома. Отец как-то, прижав к себе Тиграна, тихо сказал:

— Грустно без матери.

Баграт не хотел продолжать. Он не хотел говорить сыну, что смерть Натсайи разбередила его и без того незаживающие

раны. Тяжелее всего было оттого, что он не мог взять себя в руки в присутствии сына.

Тигран тогда еще сильнее прижался к широкой груди отца и, помолчав немного, сказал:

— Я очень люблю тебя. И хочу быть рядом с тобой. Я даже в школу не хочу...

— Ты не должен так говорить, Тигран. Ты должен учиться.

— Хорошо, отец, я буду учиться. Но все равно, когда вырасту, буду хлебопеком, как ты, чтобы нам всегда быть вместе, рядом.

— Ты должен много знать, сынок. У нас в Армении говорят: когда детей лишают возможности ходить в школу, взрослые слепнут.

— Я буду учиться. Но все равно, когда вырасту, стану хлебопеком. Я всегда горжусь, когда слышу твое имя. Наши мальчишки и девчонки в интернате хлеб называют багратом.

— Ты вырастешь и поедешь в Армению.

— Отец, расскажи мне про Армению. Ты давно ничего мне не рассказывал.

— Про Армению нельзя просто так рассказывать. Вот когда станешь большой, поедешь и все увидишь своими глазами... Увидишь землю нашу.

— Ну, а какая она, земля наша?

— Как тебе сказать, сынок. Я знал только крохотную частичку Армении. Высоко в горах. Но знаю, что разная она. Где сочная, как здесь, в Седанке, а в жаркой степи — покрыта паутинами трещин. Там, в Армении, собственно, и земли-то как таковой нет. Камни, во многих местах одни камни. Помню, когда я был чуть старше тебя, мне очень хотелось взлететь птицей в небо и оттуда поглядеть на нашу землю. И, знаешь, мне иногда казалось, что я и в самом деле лечу и смотрю вниз. Смотрю на выжженную землю, усыпанную сплошь камнями. Все удивлялся, как мы, мол, там живем. Потом опускался на землю и тоже удивлялся. На камнях растили хлеб, выращивали яблони, и весной вся земля покрывалась белым цветом... Отношение армянина к камням святое. И не только потому, что он увидел их, может, раньше, чем солнце. Я вот здесь, вдали от родины, много думал о нашей земле, и многое для меня прояснилось. Я подумал, что оставшихся в живых армян загнали на такие земли, где никто другой не смог бы жить. Враги были уверены, что камни, подобно ятагану, будут убивать армян. Они не знали и не могли знать, что камни, политые кро-

вью и потом, превращаются в сладкую землю. Я много раз об этом говорил с твоей матерью. Она меня слушала, и я видел, как всякий раз загорались у нее глаза. И я однажды спросил ее: «Натсайа, почему ты так любишь, чтобы я рассказывал про камни?» А она мне в ответ: «Потому что армянские камни — как камчатская тундра. Если бы у нас в тундре не было больших морозов, пурги, если бы здесь десять месяцев не лежал снег, если бы здесь хоть одно дерево плодоносило, нашлись бы такие же варвары, как османцы, и непременно захватили все наши земли»... Так что, Тигран, я всю свою жизнь с болью в сердце думаю о наших камнях. Твой дед, тер-Гайк, часто любил повторять, что земля образуется из праха людей. Прах не тлеет — превращается в камень. В Армении все знают, что Бог отдал горе горам и те не выдержали. Тогда Бог взял и отдал горе людям. Люди выдержали. И Бог за это их превращал после смерти в камни. Так Он делал, чтобы было видно, что люди, выдержавшие горе, крепче гор.

\* \* \*

Баграту иногда казалось, что в Седанке мало что изменилось за долгие годы, прожитые им в этом небольшом поселке на берегу Напаны. Все менялось как-то незаметно. Исчезали чумы. На их месте ставились деревянные, а потом и бетонные дома. И когда дома обживались, то казалось, что они здесь стояли вечно. Дольше всех в Седанке строился клуб. И немудрено. Самое большое здание в поселке. Баграт давно забыл города России, которые видел полвека назад. Почти полвека он жил в Седанке, которая преображалась на глазах, становясь его частицей. В Седанке Баграт видел нечто большее, чем поселок, который приютил его. В Седанке он видел свою родину. На Баграта всегда производили неизгладимое впечатление кинокадры об Армении. Трудно было поверить глазам, что возможно вот такое: из пепла поднялась целая страна. Пусть она всего лишь часть исторической родины, но это — страна. Все седанкинцы — коряки и русские, ительмены и ламуты — всякий раз, когда в клубе показывали документальный фильм об Армении, возбужденно галдели, радовались за своего бессменного «шамана». Все они безоговорочно болели за команду «Арарат», хотя многие видели футбол только в кино.

Седанка для Баграта стала мерилom новой жизни. Но какие бы перемены в ней ни происходили, для него самым важным было то, что за полвека ни разу не было перебоев с хлебом. «Вот

это больше всего меня и поражает, — говорил он многим своим гостям, когда разговор заходил о хлебе, — нет перебоев с хлебом в Седанке, значит, нет их по всей стране, нет в моей Армении. В этом была и своего рода опасность. Люди не голодали потому, что хлеб был всегда. Можно было быть спокойным. Я выпекал хлеб каждый день, даже больной, с температурой. Я понимал, что это опасно. Мы практически кормили всех бесплатно. Но давно известно, что не хлебом единым жив человек... Казалось, после Великой Победы жизнь с каждым днем должна улучшаться. Но все было не так просто. Даже здесь, где люди такие неприхотливые, они чувствовали, что они бедны. На какое-то время жизнь улучшалась, но ненадолго. Баграт, который мало разбирался в политике, недоумевал, потому что он искренне верил в социализм.

Баграт сознавал, что все эти долгие десятилетия не оставлявшая его ностальгия не убила его благодаря встрече с такими людьми, как Иван Петров, Чубаров, Стукалов. В первое время пребывания на полуострове он признался себе: «После всего происшедшего жить — это значит оскорблять память о прошлом». Память не сохранила имени того заезжего журналиста, который сказал, обращаясь к своим спутникам: «Здесь вкусный хлеб печет какой-то армянин». В другой раз Баграт слышал, как хлеб называли «армянским». С тех пор он боялся только одного: вдруг хлеб выйдет невкусный и люди останутся недовольны. Он никогда не забывал того, что хлеб, испеченный его матерью, славился на всю Карсскую область, хотя предки ее из Хоторджура. Седанкинский хлебопек был уверен, что его вкусный хлеб тоже приносит в этот суровый край радость.

И еще Баграт никогда не расставался с мыслью, что русско-го человека Стукалова, а с ним и Советскую власть нельзя подводить. Можешь позволить себе сколько угодно философствовать, но хлеб должен быть в поселке каждый день, и каждый день он должен быть вкусным. Хлеб испечен армянином, значит, речь идет о чести и авторитете Армении. «Это моя философия», — так говорил Баграт.

И Баграт ни разу не подвел за полвека. Не было в поселке перебоев с хлебом. Полвека. Восемнадцать тысяч двести шестьдесят три дня.

\* \* \*

В ясное августовское утро на открытой площадке, покрытой свежей зеленой травой, приземлился вертолет, прибывший

из Петропавловска-Камчатского. Он привез седанкинцам почту, кино и единственного пассажира — доктора, командированного из областной больницы. Доктора встречала молодая невысокая женщина, одетая в темный строгий костюм. С этой женщиной почтительно здоровались работники почты. Пилоты, спустившись на площадку, приветствовали ее, широко улыбаясь.

Это была Ксения Беккерова, первая женщина из аборигенов, ставшая врачом. О ней недавно писали в центральной газете, и седанкинцы не скрывали своей гордости за знаменитую землячку.

Прилетевший врач выпрыгнул из кабины и, завидя Ксению, направился к ней. Они знали друг друга давно. Ксения Беккерова после окончания Хабаровского медицинского института проходила специализацию в областной больнице в Петропавловске-Камчатском, где работал Эдуард Гамбарян — врач-терапевт. Его темный загар, из-за которого черные усы едва были заметны на лице, свидетельствовал о том, что он недавно вернулся с материка. Такого загара, как ни старайся, на Камчатке не приобретешь. За несколько лет работы в областной больнице Эдуард Гамбарян успел побывать почти во всех поселках полуострова. Не был он только в Седанке. Знал, что рано или поздно придется сюда приехать, и не торопился: «Никуда не денется».

Коллеги прямо с вертолетной площадки направились в участковую больницу. По дороге Гамбарян рассказал Ксении о том, почему он не стремился раньше в Седанку, а вот сейчас просто-таки вынужден был оформить командировку в этот поселок.

После обхода больных Ксения Беккерова и Эдуард Гамбарян, сидя в тесной ординаторской, принялись делать записи в историю болезни. Одного из больных врачи решили направить в город для консультации.

День выдался душным. Жаркое солнце пригревало землю. Окончив работу и выйдя из больницы, врачи медленно шли по Седанке, продолжая свой профессиональный разговор о больных.

— А вот и пекарня наша, — сказала Ксения Беккерова и добавила: — Это дом бабушки Баграта.

Они вошли в рубленый дом, и Ксения громко объявила прямо с порога:

— Дедушка Баграт, а мы в гости к вам!

— Заходите, — приветливо пригласил их хозяин, лежащий в просторной светлой комнате на топчане у самого окна. Он поднялся на локтях, пристально взглядываясь в гостя. — Проходите, проходите, — тихо повторил он. — Ксюша, поухаживай за молодым человеком.

— Я вам, дедушка Багра́т, земляка вашего привела, Эдуард Гамбарян, врач из области.

Багра́т медленно повернулся и, удобно вытянув ногу, уселся на топчане.

— Земляка, говоришь, — сказал он, — это хорошо. Тиграна нет дома, так что, Ксюша, сходи на кухню и поухаживай за нами, мужиками. Там в тумбочке...

— Я знаю, дедушка Багра́т. Я вашу кухню знаю, как свою. Не беспокойтесь.

Пока мужчины обменивались первыми фразами, Ксения быстро накрыла на стол, поставила бутылку питьевого, или, как в Седанке говорят, магазинного, спирта и спешно стала прощаться.

— Ты куда это, доченька? — спросил Багра́т. — Так не годится. Посиди с нами. Гость-то не только мой, но и твой.

— Нет, дедушка Багра́т, он ваш гость. Эдуард Арутюнович к вам приехал. А у меня дела еще есть, — сказала Ксения и ушла.

На полу из широких некрашенных досок лежали большие медвежьи шкуры. От них в жаркий день в избе казалось еще жарче. Пользуясь наступившей паузой, гость медленно зашагал по ним, приближаясь вплотную к фотографиям и картинкам, развешанным на бревенчатой стене. Он остановился у картинки, изображавшей Арарат, и, наклоня голову то в одну сторону, то в другую, спросил, не оборачиваясь:

— Из журнала?

— Да, Тигран повесил, — сказал Багра́т, медленно вставая с места. — Давайте к столу.

Гамбарян хотел было помочь ему, но Багра́т ловко пересел на табуретку.

— Садись, садись. Я все сам. Мне нельзя иначе... — сказал он, разливая спирт в стаканы. — Вот что я хотел спросить у тебя...

— Спросите, Багра́т-кери, — сказал Гамбарян по-армянски, и Багра́т преобразился.

— Сто лет я не слышал армянской речи. Правда, с Тиграном мы большей частью говорим на родном языке. Но ведь он научился языку у меня. Ты сказал «кери», «Багра́т-кери», и я



подумал, что слово это я уже позабыл. В Россию попал молодым, и до этого меня не называли «кери». А здесь вначале — «дядя», потом «дедушка» или «дед»...

— Багра-кери, вы о чем-то хотели спросить у меня, я все боюсь, что забудете...

— А! — махнул рукой Багра, улыбаясь. — Я хотел спросить, что это за имя такое у тебя — Эдуард? Какое-то иностранное. Отца твоего звали Арутюном, это понятно, но вот имя твое...

— Это уже не моя вина. Время такое было. Имена давали, как вы говорите, иностранные. Модно было.

— Да, впрочем, какая разница, как назовут человека. Главное — не в имени... Ты кушай, кушай. Оленина холодная, но она свежая, кушай. Тиграна нет дома, он в Тигиле, вот ничего и не приготовлено. Я без него одним хлебом обхожусь. А с тех пор как остался без зубов, ем одну лишь мякоть.

— Хлеб у вас что надо! О вашем хлебе теперь в Петропавловске знают. Борис Дубровин мне много о нем рассказывал. Он собирался писать о вашем хлебе...

— Ты так говоришь о Борисе, словно он помер...

Гамбарян отвел взгляд, подумав о том, что, пожалуй, рано начинать трудный разговор, из-за которого, собственно, он и приехал к старику в Седанку. Он попытался было заговорить о чем-то другом, но хозяин дома прямо спросил:

— Что случилось с Дубровиным?

— Рак легкого... Мы с ним были друзья... Тело его я отвез в Москву по просьбе матери.

— Расскажи мне о Борисе, — попросил Багра.

— Умер он у меня на руках. В тот день, вернее, в то утро я был в больнице, дежурил. Он все пытался шутить. Но чувствовалось, что больше хорохорится. Не раз спрашивал меня: «Хочешь, скажу, о чем люди думают перед смертью?» А я на это отвечал: «Боря, не говори глупости». «Перед смертью, — говорил он, — думаешь, что ты не умрешь». В больнице нашей тесновато, и Борис лежал в общей палате. Я никогда не забуду последние минуты его жизни. Уже ничего нельзя было сделать. И это он знал. Попросил, чтоб я нагнулся, и сказал, шепотом: «Сделай что-нибудь... Здесь слишком много народу... Неудобно на глазах людей... неловко как-то». Я и тут продолжал свое: мол, не дури, тебе жить еще сто лет. И все же вскоре я решил сам отнести его в ординаторскую. Он был как пушинка. Но Борис прошептал мне на ухо, что если я возьму его на руки, то обижу его. Наотрез он отказался и от носилок. Наверное, пото-

му, что санитарками были старые женщины. Я видел, что он сам хочет дойти до ординаторской. Я шел сзади, незаметно поддерживая его. Он медленно переставлял ноги. Сам дошел до ординаторской, лег и умер.

Баграт закрыл ладонями лицо и сидел неподвижно. Гамбарян налил спирт себе и хозяину дома, придвинул ему стакан и сказал:

— Выпьем, Баграт-кери. Я летел сюда, и мне было очень тяжело от мысли, что я должен передать вам такую весть. Но я не мог иначе...

— Я знал, что с Борисом что-то случилось, — сказал Баграт после долгого молчания. — Он был у меня больше года назад. Не мог он за это время не дать о себе знать. Я хорошо помню его отца, и скажу, что сын был похож на него. При нашей последней встрече Борис прямо-таки перевернул мою душу. Он мне сказал, что, оказывается, отца его власти считали врагом народа. Я тогда вспомнил, как его отец, Олег Стукалов, перед отъездом на фронт предупредил меня, чтобы я при людях не проболтался, как невольно оказался в белой гвардии. Он сказал, они (именно так, «они») не посмотрят, что я без ноги. И я тогда понял, что в России творится нечто неладное. Вспомнил трагическую судьбу братьев Петровых. Меня тогда как током ударило, подумал, плохо будет стране. Больно было за социализм.

— Я приеду к вам летом.

— Приезжай.

— Мне самому еще долго находиться на полуострове. Дубровин не только завещал, чтобы я навестил вас и рассказал, почему он не смог приехать. Он не успел собрать материалы о походе чубаровцев. Теперь я должен сделать это. Нужно собрать все необходимые документы, донесения, письма участников тех событий. Многого он узнал из личного архива отца, но нужно продолжать поиски.

— Если ты это завершишь, сынок, то я смогу умереть спокойно. Я буду знать, что не напрасно ждал. Об этих людях должны знать все. Чубаров, как и отец Бориса — Олег Александрович Стукалов, был настоящим представителем России. Они спасли в этих местах от неминуемой гибели аборигенов, как Россия спасла наш народ.

\* \* \*

Весь день Баграт находился под впечатлением встречи с Гамбаряном и Ксенией. Он с улыбкой вспоминал, как Ксения

шутя жаловалась на Тиграна, что тот не позволяет ей даже подкрашивать ресницы. Не раз в присутствии отца Тигран шутиливо говорил, что «мазаться и краситься — это в конце концов испачкать себя грязью». Невеста всегда в таких случаях приводила примеры из древних времен, когда женщины, ради того чтобы понравиться своим мужьям, и мазались, и красились. Ссылка на древних всегда обезоруживала Тиграна, но немного погодя он опять твердил свое: «Я запрещаю. Я не люблю сладкий хлеб. Я люблю просто хлеб».

Подобным разговорам Баграт не придавал значения. Если бы при нем не говорили о косметике, может, он и не замечал бы ее. Иногда он ловил себя на том, что думает, как Тигран, но в то же время не мог избавиться от мысли, что его чрезвычайно радует стремление нового поколения к красоте. Часто он смотрел, как развлекаются и веселятся корякские и ительменские юноши и девушки, и думал о своих соотечественниках.

«Спасшимся чудом народам, — размышлял он, — нельзя жить только страданиями за пережитое. Нельзя, конечно, забывать прошлое. Надо непременно помнить о тех, кто стал жертвой геноцида. Но наступает такая пора, когда надо скинуть с плеч траур. Возрождение немислимо без красоты и здоровья, без веселой музыки и песни. Как бы я хотел сейчас посмотреть на мою Армению! Каждый раз, когда по радио я слышу новые песни моей родины, я радуюсь вдвойне. Варвары после геноцида говорили, что отныне нет армянского вопроса, потому что нет армян. А народ слагает новые песни. Возрождение — это весна, это новые песни.

Я сегодня посмотрел на внучку шамана и вспомнил грушевое дерево, которое росло у нас во дворе. Я давно не вспоминал о нем. А сегодня словно увидел его, каким увидел однажды весенним утром. Все село тогда пришло посмотреть на чудо, которое случилось с нашим грушевым деревом. Люди знали, что оно высохло. Знали, что семья священника не хотела вырубать дерево только потому, что, по преданию, оно было посажено предками. И вдруг весной дерево неожиданно зацвело. Оно словно заново родилось на свет. А к осени густые ветвигнулись к земле под тяжестью увесистых сочных груш. Отец и дед чудо это приписали Богу, а мать, никогда не забуду, тихонько посмеивалась над ними. Никто, кроме меня, не знал, что ранней весной, когда кое-где еще лежал снег, она оголила корни грушевого дерева, перемешала землю с куриным пометом, золой и еще бог весть чем, о чем знала только сама. Потом она щедро

поливала дерево родниковой водой, добавляя в нее какие-то травы. Помню, как она, не любящая прихвастнуть, вдруг горделиво показала мне свои ладони и сказала, кивнув на зеленое грушевое дерево: «Это все они, руки мои!» Но и на этот раз она не захотела, чтобы кто-либо, кроме меня, узнал о том, как она спасла высохшее дерево. Отец считал, что это дело рук божьих. Сказал о том при людях, и они поверили ему. Она не могла подводить мужа-священника. Но только сейчас я понял, почему она все-таки мне решила открыт тайну. Сын должен был верить, что чудо можно сотворить только руками. Моя несчастная добрая мать! Я никогда не забуду твои руки. Сегодня в мой дом пришла твоя будущая невестка, и почему-то я вспомнил то наше цветущее грушевое дерево. И стало светло и радостно».

\* \* \*

Перед самым Новым годом, в погожий день, вернее — в погожий час, прилетел в Седанку вертолет, который привез взрослым почту, а детям — подарки от Деда Мороза. Вертолет сразу же улетел, так как синоптики обещали к вечеру нелетную погоду. Он и так нарушил все инструкции, вылетев, едва появилась возможность. Но ведь другого выхода не было. Можно, конечно, жить, строго соблюдая инструкцию, и получать за это награды. Но тогда взрослые останутся без новогодних поздравительных писем и открыток, а дети — без подарков.

Это был первый Новый год после смерти Натсайи, когда в доме Баграта появилась елка. Ее срубил накануне сам Баграт. А разукрашивала Ксения, которая к тому времени уже рассталась со своей девичьей фамилией. Вот уже полгода она носила фамилию седанкинских хлебопеков.

В Седанке Новый год каждый встречал у себя дома. Так повелось давно, еще с тех пор, как Баграт и Натсайа установили в поселке первую елку. Но уже через час-другой после полуночи люди высыпали на улицы. Старики обходили по очереди чуть ли не все дома, а молодые спешили к подножию Зеленой сопки, несмотря ни на какую погоду и даже темень, — традиция есть традиция. В новогоднюю ночь молодые люди должны кататься с сопки на аргизах, разукрашенных загодя цветастыми тряпочками, лоскутками.

Случалось, аргиза на большой скорости переворачивалась, и разлетевшиеся в разные стороны пассажиры подолгу разыскивали друг друга. Тогда на склоне сопки и у ее подножия можно было слышать звонкую переключку. Опаснее бывало во вре-

мя пурги. Но как бы там ни было, за многие годы в новогоднюю ночь никаких несчастий на Зеленой не случилось. И переворачивались, и кувыркались, но всегда отделывались небольшими ушибами и синяками. Катание на аргизах с сопки продолжалось и днем. Но днем катались одни дети, которым в ночное время запрещалось подниматься на гору.

Новый год в Седанке, как и на всей Камчатке, встречали дважды. Это тоже было традицией. Сначала по камчатскому времени, а затем в девять утра, когда в Москве наступала полночь. Был в Седанке, как и во всех поселках полуострова, своеобразный дирижер, который руководил праздничным застольем. Это — радио. Оно находилось в каждом доме, в каждом чуме. И в каждом доме, в каждом чуме динамик был включен на полную мощность. И было очень празднично и шумно. Играла музыка и в доме Баграта, когда он вернулся из пекарни. Отец и сын закончили работу часа за два до наступления Нового года. Стало традицией подавать к праздничному столу седанкинцев свежий хлеб.

Ксения бросилась навстречу свекру, помогая снять кухлянку, облепленную снегом.

— А где Тигран? — спросила она, прислушиваясь к вою пурги.

— Сейчас придет, — сказал Баграт и зашагал к елке, стоящей в углу комнаты. Он пристроил в ветках пышного дерева небольшой пакет.

— Что это, отец?

— Письмо от Гамбаряна. Днем принесли в пекарню. Хотел было распечатать, да решил, что прочтем дома, в новогоднюю ночь. Честно говоря, мы очень были заняты с Тиграном.

— Где же Тигран?

— Сейчас явится твой Тигран. Ты же знаешь, какая у него память. Уже собрались закрывать пекарню, и он вдруг вспомнил, что старик Иккавав не приходил за хлебом. Я ему говорю: «Может, кто из соседей брал за него». А он мне: «Я знаю, кто для кого берет хлеб». Вот и пошел к Иккававу с хлебом...

— А наш хлеб где?

— Как где? Разве я не принес?.. Боже ж ты мой, конечно, не принес. Понадеялся, видно, на Тиграна, а он на меня.

— Может, он взял?

— Нет. Я точно помню, что он ушел с одним хлебцем.

Вдруг Ксения разразилась громким хохотом. Баграт не выдержал и тоже стал смеяться.

В прихожей послышались шаги опаздывающего, и это еще больше подзадорило обоих.

— Что это с вами? — спросил Тигран, стоя в дверях. — Может, уже наступил Новый год?

— Наступил, — не переставая смеяться, сказала Ксения. — Новый год семья хлебопека встретит без хлеба...

Тигран снял с себя кухлянку, малахай и принялся развязывать шнуры на торбасах. Ксения развешивала его одежду, продолжая время от времени посмеиваться.

Улучив момент, Тигран схватил жену за руку и притянул к себе. Рядом с ней, маленькой, хрупкой, он казался особенно большим. Он был очень похож на Баграта, особенно с тех пор, как отпустил бороду и усы. Может, вот только глаза у него были поменьше, чем у отца, и Баграт говорил, что Тигран становится похожим на свою мать, когда смеется. Стоило сыну улыбнуться, как Баграт сразу вспоминал Натсайу.

Тигран прижал к себе жену, поцеловал ее и сказал шепотом:

— Ты очень будешь переживать, если наш Новый год пройдет без свежего хлеба?

— Нисколько... Я люблю тебя... Идем к отцу.

За огромным рубленным, богато сервированным столом сидели все трое. Им было весело. Иногда говорили все трое одновременно. Время от времени то один, то другой вольно или невольно заговаривал о хлебе. На столе было много блюд. Вареная и жареная оленина, красная рыба, картошка, тушеный заяц, нафаршированный черемшой, красная икра, балык. Стояло вино, шампанское. На столе не было только хлеба. И само отсутствие его делало праздничный стол все же каким-то несытным. Находись хлеб просто на столе, было бы куда спокойнее на душе.

В Москве было три часа дня, когда петропавловское радио поздравило всех жителей полуострова с наступлением Нового года. Тигран спешно открывал шампанское. Выпили за Новый, тысяча девятьсот шестьдесят пятый год.

— Ну, а теперь разреши, отец, распечатать конверт, — сказала Ксения и подошла к елке. Достала конверт и аккуратно надорвала край. Она достала из конверта небольшую книжку в мягкой обложке и прочла вслух: — «Семь песен об Армении». Геворг Эмин. — Затем она перевернула страничку и прочла надпись: — «Дорогому Баграту-кери! Прочтите эту прекрасную книгу. Она словно написана для вас. И знайте: есть еще одна песня — восьмая песня Армении. Это ваш хлеб. Это наш Баграт».

В ту новогоднюю ночь счастливые Тигран и Ксения катались на аргизах, взбираясь на Зеленую сопку, а Багра́т, лежа на топчане рядом с неприбранным столом, читал «Семь песен об Армении»...

\* \* \*

Пурга затихла на третий день. Многие дома в Седанке были занесены снегом. И теперь то там, то тут жители молча очищали дворы, прокладывали дорожки к заборам, разбрасывая снег. Все кругом было белым-бело.

Сразу же, едва ветер начал стихать и стало видно, что разгулявшаяся непогода вот-вот утихомирится, Багра́т послал Тиграна за председателем поселкового Совета Григорием Трапезниковым. Трое суток сидел Багра́т у окна, слушал вой метели и все это время мысленно прощался со Старым Охотником, который незадолго до начала пурги отправился в открытую тундру. Отправился в последний свой путь.

Багра́т давно знал об этом обычае, когда изнемогший дряхлый старик, чувствующий приближение смерти, собирает последние свои силы и отправляется в тундру. Отправляется, чтобы больше никогда не возвращаться домой. Многие уже вот так уходили и не возвращались. Так ушел и тесть Багра́та старик Эйхо. Багра́т, принявший многие обычаи тундры, никак не мог смириться с тем, что люди, не попрощавшись, уходили навсегда. Он никогда не забывал услышанные в детстве слова отца: «Обряд похорон нужен живым». Уход Старого Охотника нарушил его покой. Старый Охотник не попрощался с Багра́том. Он только попросил, чтобы семь дней кормили собак, а потом их распустили. Хозяина, который не кормит своих собак, в тундре считают мертвым.

Остановить уходящего было нельзя. Никто не вправе этого делать. И Багра́т знал об этом. Ему рассказывали, как уходил его тесть, старик Эйхо. Бригадир оленеводов Эйхо утром попил вместе со всеми чаю, вышел из чума и бросил пастухам словно невзначай: «Будьте внимательны во время отела оленей». Взял снегоступы под мышку и ушел, словно очень торопился.

Трапезников долго не мог понять Багра́та, почему тот просит его и Тиграна отправиться на поиски Старого Охотника. Ведь обычай никто не вправе нарушать.

— Обычай, Гриша, создают люди. И отменять его могут люди. А ты тут не простой человек. Ты — Советская власть.

Ты можешь отменять законы, если они не приносят радости людям.

— Я, конечно, умом понимаю, что нельзя так. Но сердцем чувствую, что предки наши были правы. Старый Охотник жил один, он совсем уже плох, едва передвигается, не хочет быть людям в тягость. Он не хочет, чтобы его жалели. И еще он не хочет, чтобы люди видели его умирающим. Мертвым. Сам я обычай этот усвоил с детства, и для меня в нем ничего несправедливого нет.

— Я с тобой, Гриша, согласен и не согласен. Но вот в чем беда. Никто из нас не знает, как они там, ваши старики, умирают. Никто ведь не видел их смертного часа. А может, они мучаются, страдают от боли. Может, их волки терзают. Справедливо ли умирать в мучениях? Обычай, вероятно, сохранился в тундре еще и потому, что такой исход устраивал живых. А это несправедливо.

Григорий Трапезников и Тигран Гулуян нашли Старого Охотника на исходе дня. Несколько раз они теряли его следы, засыпанные снегом, и вновь находили в другом месте. Было видно, что Старый Охотник бродил по смешанному лесу без всякой цели. Легче стало, когда они набрали наконец на переносу — следы, появившиеся на свежем снегу. Обнаружив переносу, Григорий и Тигран успокоились: значит, жив еще Старый Охотник. Следы привели их к вершине горки. Здесь они прекратились. Мужчины обежали горку и, завидя внизу лежащего на спине Старого Охотника, бросились к нему. У него была сломана нога. Старый Охотник едва слышно сказал:

— Зачем пришел за мной? Зачем нарушил закон тундры? — И потерял сознание. Потрогали лоб старика — он был холодный как снег.

\* \* \*

Григорий и Тигран по очереди тащили на себе Старого Охотника, снегоступы глубоко проваливались в свежий снег. Не прошли и сотни метров, как неожиданно спустились на тундру густые сумерки. Дальнейшее передвижение было немыслимым.

— Придется заночевать здесь, — сказал Трапезников.

— Продержится ли Старый Охотник? — засомневался Тигран.

— Другого выхода нет. В темноте тащить невозможно.

До самого утра Трапезников и молодой Гулуян лежали на снегу, согревая своими телами полумертвого Старого Охотни-



ка. Молодые люди до самого утра не сомкнули глаз. Было очень холодно.

— Мы донесем Старого Охотника, — сказал Григорий. — Он еще будет жить.

— Будет. Ксения вылечит его.

— Я согласен с твоим отцом, Тигран. Закон этот надо ломать. Я сегодня ночью много думал о своем отце, о Тымыртыгине Трапезникове. Я его не видел. Мне о нем дед Багра́т рассказывал. Однажды он сказал, что отец перед смертью мечтал быть похороненным в Седанке. Но его похоронили в Тигиле. Не было в то время дорог. Я почему-то только сегодня ночью подумал о том, для чего это дед Багра́т тогда рассказывал мне о предсмертном желании отца.

— Я вам, Григорий Тымыртыгинович, помогу перевезти прах отца в Седанку.

— Спасибо, Тигран. Пора подниматься.

За ночь снег подмерз, и идти по нему было куда легче, чем накануне вечером.

Старый Охотник пришел в себя только в больнице. Он лежал на жесткой постели с загипсованной ногой. Рядом с ним на белой табуретке сидел Багра́т в накинутом на плечи халате.

— Еле уговорил Ксению, чтобы пустила к тебе, — сказал он. — Строгая она, не пускала. Говорит, нельзя тревожить.

— Где Тигран? Где Гриша? — тихо спросил Старый Охотник.

— Не знаю. С утра куда-то поехали. Ничего не сказали мне.

— Они поехали в Тигиль, — сказал все так же тихо Старый Охотник.

— Ты знаешь, зачем?

— Догадываюсь...

— Скажи, как ты себя чувствуешь? Что бы ты сейчас хотел? — спросил Багра́т.

— Я бы сейчас хотел накормить своих собак, — сказал Старый Охотник. — Я столько дней не делал этого.

— Я кормил за тебя.

— Хозяин должен сам кормить своих собак.

\* \* \*

Апрельские ночи в Седанке нередко выдаются шумными. Идет ледоход. Трещат и вздымаются огромные ледяные глыбы. Иногда среди ночи от непрекращающегося треска просыпается весь поселок.

В ту апрельскую ночь первым проснулся Тигран. Прислушался: шум ледохода был ровным и мирным. Проснулась и Ксения. Вдруг до них донесся стон из соседней комнаты. Тигран соскочил с постели и бросился к отцу, в темноте опрокидывая стулья и табуретки.

— Отец, отец! — Тигран тряс Баграта за плечо. — Отец, проснись, что с тобой?

Прибежала Ксения с зажженной свечой в руках. Баграт открыл глаза.

— Какое сегодня число? — спросил он.

— Что с тобой случилось, отец?

— Какое сегодня число? — едва слышно повторил Баграт.

— Двадцать четвертое, — сказала Ксения.

— А год какой?

— Да что с тобой, отец? — все еще тревожась, спросил Тигран. — Разве ты забыл год?

— Сейчас год тысяча девятьсот шестьдесят пятый, отец, — сказала Ксения.

— Зажгите все свечи. А ты, доченька, подай-ка что-нибудь на стол.

— Зачем, отец, — сказал Тигран, — что случилось? Сейчас ведь три часа ночи. До утра далеко. Скажи нам, что случилось?

— Случилось. Ровно пятьдесят лет назад случилось. Сегодня день памяти армян, погибших от варваров. Я видел страшный сон. Вы разбудили меня. Мы должны все вместе отметить этот день. Сейчас три часа, говоришь? Значит, у нас в Армении день этот еще не наступил. Значит, мы первыми на всем земном шаре должны помянуть день гибели двух миллионов...

Крохотная дизельная электростанция Седанки работала обычно до полуночи. Иногда, правда, свет горел до поздней ночи, а то и до утра: если в Седанке праздновали свадьбу или какое-нибудь другое торжественное событие. В обычные же дни без пяти двенадцать лампочки начинали предупредительно мигать, падало напряжение, и вскоре весь поселок погружался в темноту.

В ту апрельскую ночь в Седанке горел свет только в окнах избы хлебопека. Семья сидела за накрытым столом. У всех троих были налиты до краев граненые стаканы. Но они не пили. Они молчали. В доме было холодно: русская печка давно остыла. Ксения надела свитер и принесла мужчинам новенькие телогрейки, какие обычно надевают в сильный мороз под кухлянку. Молча накинула им на плечи и села на свое место.

— Ты мне рассказывал об этом, отец, — нарушил молчание Тигран.

— Об этом дне сыновьям надо рассказывать только однажды, но помнить о нем нужно всю жизнь. Тигран, возьми-ка бумагу и карандаш и подсчитай, сколько будет дней в этих пятидесяти годах.

Тигран на кромке газеты начал вести расчеты. Немного погодя он произнес:

— Восемнадцать тысяч двести шестьдесят два дня, отец.

— Сколько же раз я видел один и тот же сон о гибели двух миллионов сородичей...

— Два миллиона! — протяжно сказала Ксения. — У нас в Седанке нет и двухсот человек, а мне всю жизнь казалось, что это огромный мир, отдельная страна. А тут два миллиона... Я не смогла прочитать до конца все документы, опубликованные в книге «Геноцид армян в Османской империи», мне ее недавно Борис Дубровин прислал. Сердце не выдерживало. Не верилось...

— Мне, доченька, до сих пор не верится... Я сон сейчас видел. Словно наяву все было, как тогда, в ту ночь. Будто я опять привязан крепко к подпорке дома, но я уже немолод. Я такой, как сейчас. Старый. Слышу голос матери. Она успокаивает меня, говорит со мной и знает все о моей жизни. Я никогда не забываю и о тех миллионах, которые должны были родиться, но не родились. Осталась на каменистом клочке земли горстка сирот.

Баграт осушил стакан до дна, отломил кусочек хлеба, понюхал и положил вновь на стол.

— А ты почему не пьешь, доченька? — ласково спросил Баграт.

— Мне нельзя, отец, — сказала Ксения, смутившись.

— Ей нельзя, отец, — повторил ее слова Тигран.

Как ни старался Баграт скрыть от детей вмиг нахлынувшее волнение, ничего у него не выходило. Он погладил невестку по голове и тихо сказал:

— Понимаю, доченька, понимаю.

Ксения прижала большую ладонь Баграта к своей щеке и поцеловала ее.

\* \* \*

В ясное морозное утро снежная тундра походила на море. Такое редко можно увидеть на Камчатке — голубой снег. Говорят, в сильный мороз голубое небо отражается в снегу.

Четыре собачьи упряжки медленно плыли по кочковатой тундре, напоминая рыбацкие лодки с прицепами, идущие одна за другой по морской зыби. На каждой нарте сидели по два человека: каюр и член экспедиции, которая вот уже месяц находилась в пути. Экспедиция шла на север по маршруту Чубарова.

Седанкинцы, как и все жители полуострова, знали расписание экспедиции и были осведомлены о ее приближении.

Первыми заметили приближение нарт одетые, как всегда, в яркие кухлянки и малахаи дети. Они побежали навстречу упряжкам. За ними неслись громко лающие дворовые собаки.

Весь день члены экспедиции встречались с жителями Седанки, начав с хлебопека Баграта, с которым начальник экспедиции Эдуард Гамбарян договорился об отдельной встрече.

Только к полуночи Гамбарян зашел к Баграту. Старик, казалось, так и не вставал с места.

— Я проститься пришел, Багра-кери, — сказал Гамбарян, садясь за стол.

— Как — проститься? В армянский же дом пришел. А где твои друзья? Нельзя без угощения. Не принято...

— Мы ужинали, Багра-кери. У председателя вашего.

— А я мясо сварил. Тесто в пекарне поднимается, к утру хочу вам свежего хлеба испечь.

— А я думал, что вы сегодня и не вставали с места.

— Как так можно, сынок? Нельзя не вставать. А хлеб?! Сидя его не испечешь. Я же тебе обещал, что постараюсь дожить до того дня, когда ты поход свой совершишь.

— До конца похода еще целая вечность.

— Я понимаю. Но для меня главное, что он начат и вы добрались до Седанки. Я видел вас. Я теперь спокоен. А то ведь годы... Мало ли что...

— Мы же с вами договорились, Багра-кери, что поедем еще в Армению. Я по окончании похода сам приеду за вами, и поедем. Тогда уже весна будет... Увидите своими глазами землю вашу и вернетесь.

— Да, мне бы увидеть ее. Я бы взял с собой горсть армянской земли и вернулся к Натсайте.

— А может, и останетесь там, — сказал Гамбарян и, заметив, что Багра-кери слишком спокойно и даже холодно воспринял его предложение, тихо добавил: — Останетесь на родной земле.

Багра-кери помолчал некоторое время. Глубоко вздохнул, медленно выдохнул. Гамбарян чувствовал неловкость. Он никак не ожидал, что предложение его так озадачит старика. Багра-кери

не мог не заметить замешательство собеседника и поспешил нарушить молчание:

— Вот что я тебе хочу сказать, Эдик-джан. Об этом никому не говорил, надобности не было. Я, собственно, не хочу, чтобы мы и с тобой обсуждали эту тему. Многие пытались заводить со мной подобный разговор. Я их понимал. Правда, все они были русскими, точнее, не армянами. И я всегда отвечал стандартно, мол, когда-нибудь поеду в Армению, в Советскую Армению. Но ты другое. Ты — армянин. Поэтому выскажусь. Но перебивать меня не надо.

— Не буду, — сказал Гамбарян.

— Ты меня прости, ведь я вовсе не собираюсь тебя убеждать в чем-то. Конечно, на первый взгляд, и логично, и патристично армянину оставить чужбину и вернуться на родную землю. Но все это не так уж просто. Я ведь и говорю, и пишу по-армянски. Но и пишу, и читаю по-русски. У меня дома есть книги об Армении, о нашей трагедии. Я хорошо знаю, как возродилась наша Родина на территории Советской Армении. Но очень хорошо знаю и о том, что две трети нашего народа сегодня живет на чужбине, которая никогда родиной не станет. Это реалии жизни, это факт. Я мог бы переехать в Советскую Армению в первые годы или даже в первые два десятка лет. Но именно тогда я хорошо понял, что без меня никто не сможет здесь печь хлеб, как я. Как-никак я не только из рода священников армянской апостольской церкви, но и из рода потомственных хлебопеков. Понимал я и то, что не только предал бы этих людей с чистой душой и чистым сердцем, но и нанес бы ущерб прежде всего авторитету Армении. Я слишком серьезно принял тот факт, что моим именем назвали хлеб. Дело не в самолюбии. Я часто вспоминаю, как однажды кто-то из приезжих назвал наш хлеб «армянским». В ту ночь я не мог сомкнуть глаз. Такое название — это уже другое. Куда выше и куда ответственнее. И день тот меня как-то изменил, что ли. Кто знает, может, ради того дня и спас меня Бог. Именно тогда я подумал, что мы, армяне, оказавшиеся на чужбине, должны создать армянский очаг, маленькую Армению. И мы, где бы ни находились, должны делать все, чтобы поднять авторитет родины, авторитет Армении. Ведь только так можно вернуть потерянные земли, вернуть дом свой, земли, где лежат наши предки, мои родители, мои дети, моя Манушак. Нас не бояться должны и не любить, а уважать. Не обязательно всем возвращаться в Армению, в Советскую Армению. Дом мой и миллионов моих со-

отечественников не в Советской Армении. Без борьбы не вернуть дом, построенный нашими дедами. Чтобы встать на ноги, даже если у тебя нет ноги, надо бороться. Держать высоко авторитет родины — это тоже борьба. Исполнение долга — тоже борьба. А ведь у меня есть еще долг перед памятью доктора Лукашевского, который вернул меня к жизни, перед памятью моей спасительницы, моей Натсайи. Она подарила мне Тиграна, который теперь продолжает святое дело — печет хлеб. Дома мы говорим в основном по-армянски. Даже внучек мой Баграг лепечет по-армянски. Вот он-то и поедет на Родину. Что же касается горсти родной земли, то ты как-нибудь привезешь нам. Ты же часто едешь домой.

Гамбарян достал из внутреннего кармана пиджака небольшой целлофановый мешочек с красным крестом. Подержал мешочек в руке и протянул Баграгу.

— Что это? — спросил Баграг.

— В этом мешочке земля с могилы моего деда. Я землю эту ношу с собой. Без нее не отправляюсь в путешествие. Вот и сейчас взял с собой в поход.

Баграг осторожно рассматривал мешочек, потом тихо спросил:

— А что это за крест такой?

— Это просто так. Взял мешочек из медицинской аптечки. Думал, потом землю пересыплю в другой, но все некогда было.

— И не надо. Пусть будет с крестом. — Баграг вернул мешочек гостю. — Мне как раз вот столько земли и хватит. Слишком мало у нас земли, чтобы растаскивать ее. Я возьму столько же и высыплю часть земли на могилу Натсайи, оставив горсть и для себя тоже. Она ждет меня.

Рано утром, когда было еще темно, Седанку разбудил лай собак. Каюры запрягли в упряжку сонных лаек. Упряжки направились к пекарне.

Баграг вручил каждому члену экспедиции и всем каюрам свежесдобитый хлеб. Отъезжающие по очереди подходили к старику. Он прижимал каждого к себе и целовал в лоб.

Нарт уже не было видно, но люди продолжали смотреть туда, откуда все еще доносился затихающий лай собак.

Караван шел на север. Справа на востоке рождалась заря. Устроившись на собачьих нартах, путешественники торопливо ели пышный, еще теплый хлеб, который остывал в их руках. Они из опыта знали, что, если хлеб оставить в рюкзаке, он пре-

вратится в твердый камень, который потом не разрубишь топором. Вот почему они ели торопливо. Не всегда в открытой тундре человеку удается поесть свежего хлеба.

\* \* \*

В Петропавловске-Камчатском, как и в любом другом городе, прохожий может остановить прохожего, чтобы получить соответствующую справку: как, например, пройти к сопке Любви или как проехать к управлению тралового и рефрижераторного флота. Но никто, наверное, никогда не справлялся в Петропавловске-Камчатском о том, как проехать к аэропорту. Каждый прибывший на Камчатку уже в первый день знает, что дорога, ведущая из аэропорта к городу, — единственная. Другой здесь нет. Вот уж действительно магистральная артерия. Чуть что — и беды не миновать.

Чаще всего по этой дороге, по Елизовскому шоссе, едут в ясную погоду. И когда в сотый или тысячный раз проезжаешь по ней, то кажется, что дорога сама какая-то ясная, голубая. На всем протяжении ее приезжего сопровождают Авачинская и Корякская сопки. Они то приближаются вплотную, то отстают, прячась на поворотах, чтобы в следующую минуту появиться вновь.

В то утро Эдуард Гамбарян ехал по Елизовскому шоссе и радостно улыбался знаменитым сопкам, ставшим уже символом города. Это была его седьмая подряд попытка улететь в Тигиль. Шесть раз он ехал в аэропорт в пасмурную погоду и все шесть раз знал, что вернется назад. Камчатка есть Камчатка. Бывало, прорубается светлое окно — и самолет тотчас же поднимается в воздух. Гамбарян не мог бы простить себе, если бы вдруг упустил сегодня «окно». Ведь хлебопек Баграт давно, наверно, знает, что поход закончен: вездесущие пионеры не могли не показать ему газеты с портретами участников экспедиции. А раз так, значит, старик ждет Гамбаряна, который поклялся, что приедет за ним и они вместе полетят на материк, в Армению...

Стремительный Як-40 летел над редкими перистыми облаками, и внизу отчетливо была видна весенняя долина реки Камчатки, белые островки снега и зеленые полосы леса. В ленте реки, большей частью на кривунах, отражались косые лучи солнца. И кривун иной напоминал накаленную добела подкову, брошенную на землю. Видны были одинокие охотничьи избы и пастушьи дома в тундре — это спасательный круг для

путника, отправившегося в дорогу зимой. Самолет летел над хорошо знакомой Гамбаряну линией чубаровского маршрута. И казалось, путешествие еще не окончено. Собственно, для Эдуарда Гамбаряна так оно и было. Он собирался вновь отправиться в дорогу.

До Седанки Гамбарян добрался на попутном вездеходе. Спрыгнув с машины, облепленный со всех сторон грязью, он подумал, что ее специально изобрели и создали для такого вот участка дороги и для такой поры. Пору, когда, как говорят синоптики, зима еще не сдала позиций, а весна не вступила в свои права.

Из грязных сугробов по немощеным улицам поселка текли тонкие ручейки. Пригревало яркое солнце. Перепрыгивая через лужи и ямы, Гамбарян спешил к дому хлебопека. Навстречу приезжому шла маленькая девочка, несмотря на теплую погоду одетая в двойную кухлянку. Она несла, прижав к груди, маслянистый розоватый хлеб с откушенной коркой.

— Что, девочка, вкусный сегодня баграт? — не вытерпел и спросил приезжий.

Девочка остановилась, улыбнулась. Видно было, что она хочет как можно быстрее проглотить откушенный кусочек, но то ли от неожиданности, то ли от волнения это у нее никак не получалось. Наконец проглотив, она, все еще улыбаясь, сказала:

— А баграт у нас теперь Тигран печет...

— Как Тигран?

— А мой дедушка говорит, что хлеб все равно у нас будут называть «багратом», — сказала девочка и откусила от другого угла.

Приезжий посмотрел вслед уходящей девочке, которая, путаясь в полах своей длинной кухлянки, шла медленно, то и дело оборачиваясь и поглядывая на незнакомца. Ее, наверное, порядком удивило то, что взрослый человек не знал: хлеб в поселке теперь печет Тигран. Ведь об этом уже все знали.

Гамбарян застал Тиграна в пекарне. Тот раскладывал свежий хлеб на некрашенных, потертых деревянных полках, покрытых крошками и мучной пылью. Приятно пахло свежей выпечкой. Тигран, заметив гостя, стоящего в дверях, присмотрелся и, узнав, тихо сказал:

— Проходите.

По голосу и по глазам хлебопека гость почувствовал, как тот рад неожиданному визиту. Гамбарян подошел к Тиграну. Они обнялись. Помолчали.



Молчали они и по дороге на кладбище, осторожно шагая по рыхлому весеннему снегу. Гамбарян нес новенький коричневый портфель. Остановились у двух белых бугорков. Судя по тому, что оба были покрыты, как говорят на Камчатке, одним и тем же снегом, Гамбарян понял, что Баграт скончался еще в разгар зимы. И, может, чтобы проверить себя, он спросил едва слышно:

— Тигран-джан, когда это случилось?

— На следующий день, как вы уехали. К вечеру, помню, мы вернулись из Тигиля, а утром он скончался.

Гамбарян открыл портфель, достал оттуда небольшой целлофановый мешочек с красным крестом и высыпал землю на могилы.

Возвращались они той же дорогой. У пригорка Гамбарян оглянулся. Бросились в глаза два темных пятна на белых бугорках. Согнув руку в локте, Гамбарян крепко сжал пальцы в кулак и потряс им в воздухе.

Неожиданно он явственно услышал громко произнесенное имя «Баграт». Потом услышал его еще и еще. Гамбарян перевел взгляд на идущего рядом Тиграна и увидел широкую улыбку на его лице. Горящие глаза были устремлены на бегущего навстречу мальчика, одетого не по-весеннему тепло. Малыш часто падал, но всякий раз тут же вставал на ноги, чтобы в следующий миг с хохотом броситься вперед. За ним, явно не успевая, бежала молодая женщина в распахнутой настежь весенней кухлянке. Малыш еще раз упал и, перевернувшись как колобок, вскочил и побежал дальше.

— Баграт! — вскричал Тигран и бросился к сыну с вытянутыми вперед руками. — Цавыт танем<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В переводе с армянского: «Чтобы я взял себе твою боль».